

Л. П.  
БЛЮММЕН

НА  
А  
Л



Библиотека или в библиотеке

Даров! Желания

12.03.952

Библиотека служит не  
только для того, чтобы расши-  
рять знания как книги  
Библиотека служит своим  
высшим в том: почитать,  
~~знания~~ приобщить знания к  
Дом. Возможно ли себе  
предоставить себе проверенные  
годы и часы без книг?  
Чаще ли будем с собой  
наиболее священное и добро-  
мыслие и книги. Они  
составляют наш мир и се-  
мьейными чувствами и  
борьбой...

НК РСФСР Избранное 1990

Москва - М-во Пресса ~~из~~ книги  
Скрябинина Г. И. С. 241

Новокузнецку

375

лет



Л. П.  
БЛЮМЕР

НА  
А  
Л  
Т  
А  
Е

РОМАН

Б 70  
ББК Р 1

Книга издана по заказу и на средства литературно-мемориального музея Ф. М. Достоевского в г. Новокузнецке.

Первый роман о Сибирском золоте издается впервые после 1885 г., события романа происходят в 30—40 гг. 19 в. в Кузнецке и Барнауле.

Лицензия  $\frac{\text{ЛР № 040360}}{\text{Л 77 (03)}}$  — 93

ISBN 5-87521-012-5

© Литературно-мемориальный музей Ф. М. Достоевского

## РОМАН О СИБИРСКОМ ЗОЛОТЕ

(Леонид Петрович Блюммер, 1840—1887 гг.)

**Встреча.**— Весной 1980 года, побывав в Новокузнецке, как обычно, встретилась с Антоном Ивановичем Полосухиным, которого можно по праву назвать летописцем Кузнецка и которого считала и всегда буду считать своим учителем и примером для подражания. На сей раз он передал мне такую записку:

«В городе Кузнецке я лично давным-давно, еще будучи подростком, но уже комсомольцем, слышал от древних кузнечан-старожилов о человеке-писателе и революционере, сосланном царем в Сибирь на золотые прииски. Что этот ссыльный бывал в Кузнецке несколько раз и всегда останавливался на улице «Зеленой» (теперь улица Полосухина) в доме сапожника Жирихина. Старожилы, видевшие этого писателя-революционера, рисовали его как человека внушительного вида, красивого, богато одетого и общительного. Рассказывали, что его не любило полицейское начальство и вроде выживало из Кузнецка, как человека подозрительного. Эти старожилы считали писателя-революционера ссыльным немцем. Некоторые говорили, что он невзлюбил местное полицейское начальство и ругал это начальство, а как-то даже прятался в бане у Жирихина от полиции.

По всем описаниям старожилов полное впечатление, что этим человеком, писателем и ссыльным революционером и был Леонид Петрович Блюммер, который в своем романе «Алтай» остро разоблачал проделки верхушки полиции и купцов в Кузнецке.

Возможно, что где-то в литературе и личных запис-

ках Блюммера и сохранились воспоминания о посещении Кузнецка. Из его романа «Алтай» это явствует».

**Антон Полосухин, 20.III.80.**

С этой записки и началась для меня тема «Блюммер — забытое имя». Привлек именно намек на возможную документальность романа, название которого Антон Иванович чуть искажил. Документальность, которая, думается, аргументированно подтверждается отзывом Ядринцева о романе (о чем — ниже), написанном близким, хотя бы по воспоминаниям юности, человеком. Документальность, которая, очевидно, давала о себе знать еще в пору побывок Блюммера в Кузнецке, описанных «древними старожилками» — не зря же «власти» выживали его из города за то, что он ругал их (в романе?), так что даже приходилось — прятаться от полиции...

**Из некрологов, или — «люди 60-х».**— Итак, сто пятьдесят лет назад в крепости Ениколе в Крыму, в семье кавказского офицера, — тамбовского дворянина и дворянской же дочери Ярославской губернии — родился мальчик с совершенно не русской фамилией Блюммер. Впоследствии его биографы станут искать корни рода Блюммеров, кто в Ирландии, кто в Швейцарии (в кантоне Гларус), и сойдутся на том, что родной его дед служил адъютантом у Костюшко, а двоюродный — был убит в Варшаве в чине генерала при восстании 1831 года, и что, в конце концов, род Блюммеров переселился в Россию.

Впоследствии судьба Леонида Петровича Блюммера самым причудливым образом, хотя и косвенно, сойдется с судьбой польских повстанцев, сосланных в Сибирь, но это будет много позже, — пока же чрезвычайно резвый мальчик учится в Симферопольской гимназии, учится блестяще, но, отчаянный сорванец, приводит в ужас домовладельцев, у которых квартируют Блюммеры, так что им нередко приходится сменять адреса — от квартиры им отказывают.

Во время Севастопольской войны приходится перевести мальчика во 2-ю Харьковскую гимназию, но выходит он из 7-го класса — восемь человек детей, отец за растрату разжалован в рядовые, приходится взрослеть



до поры. Впрочем, для юного Блюммера это не внове — со второго класса он уже давал уроки, и в тринадцать лет считал себя человеком самостоятельным, — да и был им.

В 1856 году, мирно учительствуя в деревне Крутоярка Полтавской губернии, Блюммер послал свои первые журналистские опыты в «Одесский вестник». Маститые издатели — профессора Богдановский и Георгиевский, более чем благосклонно приняли работы пятнадцатилетнего корреспондента — в 1857 году Блюммер, ободренный первыми публикациями, поступает в Петербургский университет по Восточному факультету (ранее Китайско-Маньчжурскому).

Петербург принял юного Блюммера как «своего».

Год назад одним из руководителей журнала «Современник» стал Николай Гаврилович Чернышевский. Позиция его известна — в продолжение «неистовому Виссариону»: «Крестьянская революция, борьба масс за свержение старых властей». Молодежь к Чернышевскому льнет.

Молодежь в ту пору, если и не «приравнивает перо к штыку», то уже ощущает силу слова, как могущественно-го оружия.

Молодежь пишет, и — надо представить! — ее необычайно легко печатают. В шестнадцать лет Блюммер — известный журналист. Он рьяно участвует в преобразовании журнала «Северная пчела», печатается в «Иллюстрации», «Петербургских ведомостях», «Искре», «Светописи», он — постоянный автор «Светоча». В семнадцать — издает отдельные работы «Хохлацкие спевки» и «Чему могут служить лубочные картинки».

Притом. — в 1861 году с блеском защищена степень кандидата прав в Московском университете, после чего Леонид Петрович уезжает за границу.

Все это — видимая, фактическая часть биографии. То, что потом напишут о нем посмертно профессор С. Венгров («Критико-биографический словарь русских писателей и ученых», СПб, 1892, т. 3) и профессор Е. Бобров («Русская старина», июнь 1905 г.) — о безвременно ушедшем из жизни 26 мая 1888 года в 47 лет «от разрыва сердца или солнечного удара» литераторе и журналисте Леониде Петровиче Блюммере, подчеркивая, что при блестящем даровании и работоспособности — опубликовал более двух тысяч статей, рассказов, критических работ — «он мог бы занять видное место в русской

литературе в качестве или беллетриста, или критика, но для этого нужно было всецело отдаться одному делу, нужно было посвятить себя одной литературе... этого и не смог сделать Леонид Петрович. Ему вредило чрезвычайное богатство и разнообразие способностей»...

«Люди 60-х годов вообще как-то скоро перегорали, оставив по себе сравнительно немного...» — заключает свой очерк автор, проф. Е. Бобров.

Итак — «люди 60-х...»

Итак — «посвятить себя одной литературе...»

Мог ли Блюммер? А Чернышевский? Писарев, Белинский, Михайлов?

**«Гнездо на Садовой улице».**—... В конце 50-х годов в Петербург приезжает Антонина Петровна Блюммер. Возможно, потому, что там находится ее юный брат, — она все-таки старше на четыре года, она за ним присмотрит. Может быть, такая мотивация отъезда обсуждалась в семейном кругу и убедила родителей.

Провинциальная девица двадцати двух лет от роду, одна из первых петербургских женщин посещает открытые лекции в университете. Она же завсегдатай шахматного клуба, который слыл легальным радикально-политическим клубом петербургской интеллигенции. Брат, уже известный литератор, перезнакомил ее с М. Л. Михайловым, П. Л. Лавровым, Н. Г. Чернышевским. Вскоре у Антонины Блюммер образовался, своего рода, «литературно-политический салон», соперничавший по значимости с кружками сестер Корсини и Н. Суловой. У Антонины Блюммер собирался цвет русской мысли: Д. Писарев, Н. Утин, Н. Серно-Соловьевич — ее гости и друзья. И, конечно же, — Леонид Петрович Блюммер. Здесь, в доме у Антонины Петровны, вырисовываются «невидимые» — до поры — стороны его биографии, революционные связи и радикальные настроения.

В 1861 году Л. Блюммер уезжает за границу.

В 1862 году Антонину Блюммер арестовали. При рассмотрении ее дела все припомнилось. И что одна из первых пошла учительницей в Васильевскую воскресную школу, и что была среди самых приметных фигур «Общества петербургских воскресных школ», и что вместе с Аверкиевым и Гайдебуровым вела отдел «Вестника воскресных школ».

Словом, образ жизни «нигилистически настроенной девицы Антонины Петровны Блюммер» III-е отделение

шокировал. У нее бывали экстремисты революционного движения той поры — П. Г. Зангилевский и П. Э. Аргиропуло. И, вообще, «квартира Блюммер на Садовой улице является местом собрания всех тех лиц, которых можно было более или менее подозревать в распространении революционных идей». Этакое гнездо инакомыслящих, словом. Власти не ошибались. Как только стало слышно о возможном аресте поэта-революционера Михайлова, Антонина Блюммер явилась к нему — она готова спрятать его у себя в доме, а потом препроводить за границу. Спрятать Михайлова она не успела...

Это была пора, когда арестовали и поместили в Петропавловскую крепость Н. Г. Чернышевского.

Это была пора, когда судьба уже подбирала нити для некоего витка, который — пусть косвенно — соединит на одной странице истории имена Чернышевского, Л. Блюммера, ссыльных кузнецких поляков и завсегдатаев «салона» Антонины Блюммер, многие из коих были членами Петербургского землячества сибирских студентов...

В мае 1862 года Антонину Блюммер выслали из Петербурга на поруки к отцу, под его строгий надзор. За распространение нескольких сот подпольных листовок «Великоросс». В том же году арестован писатель Н. И. Наумов, еще один из «гнезда на Садовой улице». Впрочем, в Петербург Антонина Блюммер вернулась недолго. И ненадолго.

Обратимся, однако, в дальние края, куда, за год до ареста сестры, отправился кандидат прав, литератор Л. Блюммер. Возможно, предвидя, как развернутся события, и желая, — а может, имея поручение — вести в эмиграции работу, которая уже стала невозможной в России. Предположение вполне оправданное, — в 1863 году в Берлине он основал газету «Весть», в Дрездене — «Европу» и в Берлине же, а потом в Брюсселе — «Свободное слово» — русский политический орган — три его выпуска составили целый том в 59 страниц. Радикальностью, очевидно, первый том не отличался — А. И. Герцен программу органа посчитал написанной «примирительным, прогрессивным и независимым стилем». Именно потому, очевидно, «успех такого органа нам кажется несомненным». Еще через год Блюммер состоял сотрудником Герцена («был одним из «звонарей» в «Колоколе»). Впрочем, вскоре Блюммер с Герценом разошелся.

В 1864 году в Петербурге состоялась гражданская казнь Чернышевского с последующей ссылкой в Сибирь. В обвинении фигурировали не только «приготовление к возмущению», но и контакты с Герценом.

В 1865 году Блюммера повелительно вызывают в Россию. Вызывают власти. Следуют суд, каторга и ссылка на десять лет.

Откроем скобку.— Только что в августе скончался на Кадайском руднике поэт, лирик, переводчик Гейне, автор романа «Перелетные птицы» Михаил Ларионович Михайлов, завсегдатай «салона» Антонины Блюммер. Один из тех, по мнению последующих благополучных биографов, которые «быстро перегорели, не посвятив себя только литературе». Осужденный в роковой для революционно настроенной молодежи 1861 год к шести годам каторги, Михайлов не успел отсидеть присужденного срока, но успел составить с Н. В. Шелгуновым и распространить революционную прокламацию «К молодому поколению». Еще он успел написать «Послание узника»:

*А здесь и стих мой не клеится,  
И в сердце жалобы одне...  
Я не балованная птица,  
А не поется в клетке мне.*

И предсмертные стихи:

*И за стеной тюрьмы — тюремное молчанье,  
И за стеной тюрьмы — тюремный звон цепей,  
Ни мысли движущей, ни смелого воззванья.  
Ни дела доброго в стране моей!*

Как не сказать здесь, что судьба литературного наследия Михайлова сложилась печальнее, чем у Блюммера. Имя его оказалось под запретом. В 1867 году стихи его были изданы, и тотчас же весь тираж уничтожен. В 20-х годах нашего века о нем вспомнили. Ненадолго. Так же, как и о Блюммере, имя которого последний раз всплыло в памяти потомков в 1940 году к столетию его рождения. В Сибири — чтобы сказать, что первый роман о сибирском золоте написал именно он. Роман, который с 1885 года до сих пор так и не переиздавался...

Однако вернемся в год 1865-й. Итак, суд над Блюммером состоялся, и в 1866 году он отправился в ссылку. Впрочем, после полутора лет заключения, хоть и лишен-

ный всех прав, Л. Блюммер остается в Сибири, но уже в качестве ссыльного. И всего на четыре года. Но эти годы, когда Блюммер служил на частных золотых приисках в кузнецкой и алтайской тайге, сделали его литератором.

Первый роман о сибирском золоте написал не Н. И. Наумов («Еж», 1873 г.), не Д. П. Мамин-Сибиряк («Золото»), не В. М. Михеев («Золотые россыпи»), а именно Л. П. Блюммер, который, вернувшись из ссылки «по всемилостивейшему прощению», уже в 1871 году напечатал в журнале «Заря» фрагменты романа «Около золота», а затем отдельным изданием, под названием «На Алтае», весь роман. Сибири он посвятил также и рассказы «Фальшивая бумажка» и «Слуга».

Но, прежде, чем более подробно коснуться первого российского романа о сибирском золоте, а точнее, о «Кузнецком золоте» — ибо действие романа разворачивается именно в Кузнецке и Барнауле — обратимся в год 1866-й.

**Год фатальный.** В Сибири с 1862 г. находится Берви-Флеровский, с 1864 г. пребывает Наумов, в Сибири же — Чернышевский. Давно арестованы Н. А. Серно-Соловьевич и Д. И. Писарев. В 1866 году вновь — и теперь надолго — попадает под надзор Антонина Блюммер, в ссылку отправлен ее брат Леонид Петрович! И... в этом же году готовится побег Н. Г. Чернышевского из Сибири.

Когда наталкиваешься на такие роковые даты, которые аккуратно «подбирают» обоймы друзей, родственников, единомышленников, невольно ищешь — помимо общего исторического фона — единый мотив, возможную зацепочку, «крючочек», связующий их судьбы и толкнувший их в некое общее русло.

Исторический фон — революционный подъем начала 60-х годов, аресты, ссылки. Польское восстание 1863 года, после подавления которого в городах Сибири появились колонии ссыльных поляков, потомки которых живут в нашем крае по сей день.

И 1866 год. Когда уже кажется «подчистую» ссылают цвет прогрессивной петербургской и московской интеллигенции...

Вспомним: 4 апреля 1866 года последовало неудачное покушение Каракозова на Александра II.

И незадолго готовится побег Чернышевского из Сибири. Побег, который сорвался.

Оба события связаны со знаменитым революционным

молодежным кружком Н. А. Ишутина в Москве и его «филиалом» в Петербурге. Ишутинцы уже имели опыт в организации побегов — так был освобожден польский революционер Ярослав Домбровский из Московской пересыльной тюрьмы. Отсюда тесные связи с польским революционным подпольем в Москве. А поскольку оно, в свою очередь, связано с сибирскими ссыльными поляками, то в студенческой непримиримо-революционной связке оказываются и студенты Петербургского сибирского землячества. Многие из них — добрые знакомые Блюммеровского гнезда.

Итак, готовится очередная акция: побег Чернышевского. К той поре Ишутин уже близко сошелся с петербургскими «сибиряками» — с Иваном Алексеевичем Худяковым, сыном декабриста Анненкова, уроженцем Кургана.

**Откроем скобку.**— Худяков учился в Тобольской гимназии, затем в Казанском и Московском университете. За участие в студенческих волнениях из университета исключен и переезжает в Петербург. Одаренный юноша в 19 лет успел издать несколько книг по русскому фольклору, которыми специалисты пользуются и сегодня. По делу Каракозова (а друг Худякова Ишутин Каракозову приходится двоюродным братом) отбывает ссылку в Верхоянске, где, подобно Радищеву, «оставался тверд мыслью» — изучал язык, культуру и быт аборигенного населения. Но надолго ли хватит «алмазной твердости» деятельному уму в климате постоянного попрания человеческого достоинства и полной отторгнутости от общественного бурления, свойственного той поре?

В 1876 году Худяков, тридцати четырех лет от роду, умер, умалишенный, в Иркутской больнице. Но все это случилось потом, много позже...

**Землячество.**— Пока же юный Худяков появился в Петербурге в 1862 году. Поселяется, конечно же, со студентами сибиряками: Н. И. Наумов, Г. Н. Потанин, Н. М. Ядринцев, публицист-сибиряк Г. З. Елисеев — его друзья. Пока их имена еще ничем не примечательны, но они полны дерзаний, знакомятся через Николая Ишутина с новыми руководителями «Земли и воли», П. П. Княжнинским, Л. Ф. Пантелеевым и Н. И. Утиным. Наумов и Утин — завсегдатаи у Антонины Блюммер, которая возвращается после первой ссылки из-под папень-

кийного надзора. Так завязываются первые сибирские узелочки в биографии будущего автора первого романа о сибирском золоте, хотя он, как мы уже знаем, в это время пребывает за границей.

Одним из примечательных сибиряков этой дерзновенной плеяды был Георгий Захарович Елисеев, сын священника, уроженец Томской губернии. В Петербурге он появился одновременно с Л. П. Блюммером в 1858 году. Как и Блюммер, сотрудничал в «Современнике», как и вся мыслящая петербургская молодежь, восхищался Рахметовым и поклонялся Чернышевскому.

**Откроем скобку** и сообщим, что Елисеев был, в отличие от многих своих друзей, удачлив. После «дела Каракозова», попав в Петропавловскую крепость, был, однако, освобожден за отсутствием улик, хотя к дерзновенной акции, о которой ниже, имел самое прямое отношение.

**Неудавшийся побег.**— План побега Чернышевского был разработан в 1865 году (не оказался ли среди ищущих провокатор — не напрасно же вдруг вызывают в Россию Л. П. Блюммера из-за границы?). Инициативная группа подобралась из московских студентов. Руководитель — Н. П. Странден. Худяков — «ведущий» заговора, его душа. В Сибирь собирались выехать весной 1866 года (заметим: Блюммера, дальновидного Блюммера, который из «гнезда на Садовой» предусмотрительно успел уехать в Европу в 1861 году, именно сейчас, в 1866-м, ссылают на сибирскую каторгу...).

Кто мог подать такую идею? Думается, именно Георгий Захарович Елисеев ближе всех знал Чернышевского и, как сибиряк, притом томич, мог располагать разветвленными связями с ссыльными поляками — как известно, особенно много их оказалось в Томске, Кузнецке и Иркутске. А как было обойтись при осуществлении дерзкого плана без революционно настроенных кругов Сибири? Многие «петербургские сибиряки» к этому времени вернулись в Сибирь и даже успели организовать «Общество независимости Сибири», вплоть до ее отделения от России. Идеологами движения были и оставались долгие десятилетия Н. Г. Потанин, Н. М. Ядринцев, С. С. Шашков. Эти имена встретятся нам в переписке братьев Булгаковых — томских гимназистов, они же мелькнут

на жизненной стезе сибирского художника В. Д. Вучичевича, о чем рассказано в иной книге.

Пока же, к моменту задуманной акции, «сепаратисты» оказались в парадоксальной ссылке: дальше Сибири ссылать некуда — их отправили на русский Север, в Архангельскую губернию...

Однако во многих сибирских городах оставались единомышленники. Сын иркутского купца Н. Н. Пестерев, высланный из Москвы за студенческие вольнодумства, мог помочь замыслу: установить связи, снабдить деньгами. Немалые надежды возлагались и на сибирских ссыльных поляков — сочувствие Чернышевского национально-освободительному движению Польши было общеизвестно. С видным польским революционером Зигмундом Сераковским, офицером генерального штаба и руководителем подпольной организации в Петербурге, Чернышевский был близко дружен. Настолько, что Сераковский и послужил прототипом для Соколовского из романа «Пролог», написанного на Александровском заводе. На Кадайской каторге тоже было немало польских повстанцев — у Чернышевского с поляками сложились прочные связи.

Худяков, «душа акции», как уже было сказано, решил действовать через подпольные польские связи. Так от гнезда Блюммеров на Садовой улице к ссыльным сибирским полякам — для предков Блюммера чуть не братьям по крови — потянулась первая ниточка.

В феврале 1866 года Худяков составил в Сибирь рекомендательные письма, добыл фальшивые паспорта, симпатические чернила, надежную краску для волос.

Известны и польские адресаты этих писем. Доктор Владимир Вышинский, известный в подполье как Александр Выга, обитал в Тобольске под надзором полиции. Второй — Казимеж Кухарский, уроженец Ковенской губернии, студент петербургского университета, участник студенческих выступлений 1861 года, сражался в отряде З. И. Сераковского. Кухарский отбывал ссылку в Кузнецке, контактировал с польским подпольем в Томске и других городах Сибири. Так, Кузнецк мог стать местом передышки для Чернышевского при переправе его на Запад. Один из братьев или родственников Кухарского находился на Кадайском руднике — тоже немаловажное обстоятельство для участия в побеге Чернышевского.

Итак, Кузнецк уже маячит на «контурной карте» биографии Л. П. Блюммера. В Кузнецке — ссыльные поля-



кй, которых Блюммер, возможно, еще не знает (хотя при обширных связях Блюммеровского дома на Садовой...) Но предки Блюммеров, как уже было сказано, еще со времен Костюшко были преданы «польскому делу», что доказывали с оружием в руках и даже ценой собственной жизни.

Во всяком случае, Л. П. Блюммер никак не ведает, что именно Кузнецк сыграет важную роль в его становлении как литератора, но в его жизненный узел уже вплетается именно Кузнецк, с которым судьба Блюммера исподволь и столь разными нитями связана...

Впрочем, в Кузнецке находится еще и Л. Т. Самарин, который за участие в польском восстании 1863 года отправлен в Томский батальон и отбывает солдатскую повинность в Кузнецком гарнизоне. Возможно, Худяков рассчитывал и на него. Возможно, что много позже Л. П. Блюммер, служивший на золотых приисках в Кузнецке, Самарина знал...

Побег Чернышевского не удался. Отыскалось и имя провокатора — Ю. Сулинского. В феврале 1866 года — фатального года — повальные аресты обрушились на бурлящее студенчество Петербурга и Москвы. Л. П. Блюммер отбывает на каторгу и ссылку в Сибирь, его сестра вновь арестована.

Что стало с рекомендательными письмами? Их обнаружила следственная комиссия по делу Каракозова в доме Ишутина. Над ним нависла смертная казнь, последовало помилование, если таковым можно считать одиннадцатилетнее одиночное заключение в Кадайской каторжной тюрьме. Как и Иван Худяков, Ишутин последние два года находился в острейшем психическом расстройстве. Избежал смертной казни и Н. П. Странден, который должен был доставить письма польским адресатам, но был сослан в Александровский завод Нерчинской каторги. В 1884 году помилован и возвращен в Европу.

Откроем скобку, добавив, что Антонину Блюммер от более серьезных последствий в тот роковой, 1866-й, год спасает брак. Она выходит замуж за известного ветеринарного врача Григория Львовича Кравцова. Сменив свой социальный статус, она отнюдь не изменила своих убеждений, и петербургский дом Кравцовых достойно продолжил традиции гнезда на Садовой улице. В доме Кравцовых бывали лучшие умы Петербурга, среди которых Г. А. Лопатин, П. Ф. Якубович и будущий биограф Блюммера — С. А. Венгеров.

После смерти мужа, человека просвещенного, знатока литературы, собирателя автографов, Антонина Петровна покидает столицу и с дочерью едет в Воронеж. Дом ее называют «штаб-квартирой» высланных студентов: народовольцев (среди них Вера Фигнер), большевиков, членов «Молодой партии народной воли» (среди них В. Д. Дмитриева). Старый большевик И. В. Шауров называл ее «неутомимым борцом за освобождение России от гнета царизма».

...А Леонид Петрович пребывал в сибирской ссылке. И писал роман.

**Кузнецкое золото.**— Действие романа «Около золота» Л. П. Блюммер разворачивает «в Западной Сибири, в отрогах Алтая, не слишком далеко от китайской границы», где расположен небольшой городок Ковальск. Ковальск — псевдоним Кузнецка, точно так же, как под Багулом скрывается Барнаул. Действие увлекательное, даже детективное, тем более, что происходит на фоне дремотно-патриархального обывательского быта. Л. П. Блюммер весьма точен. В описание жителя-бытия городка Ковальска свободно могли бы вплестись целые абзацы и главы о Кузнецке из «Положения рабочего класса в России» Берви-Флеровского, равно многие характеристики и коллизии из сибирских рассказов Наумова органично срастаются с персонажами и наивно-преступными ситуациями из романа Блюммера. «Наивную преступность» — плод невежества и спячки души — порождает сама среда, «где об интеллектуальной жизни не было и помина... исправник обдирает инородцев, горный управитель — вверенных ему крестьян, городничий сидел в своем правлении... все это жило очень просто, в домах, иногда не отличавшихся по наружности от крестьянских, ездило в крестьянских санях, в воскресенье появлялось на базаре в нагольном тулупе и валяных сапогах, а затем пило и пило...» (Берви-Флеровский). И все это в богатейшем крае, где к тому же золотая лихорадка. И последовательная иерархия мелкого тиранства и покорного неосознанного рабства. «Пока крестьянина можно будет наказывать телесно, не только по суду за важные преступления, но и за маловажные — за бедность, до тех пор он будет раб в душе, он будет чувствовать себя жалким, униженным парией, чувство собственного достоинства будет для для него недоступно.. Жертва бес-

пошадного унижения, он держит в таком же рабстве свою жену и свое семейство и воспитывает детей, всасывающих с молоком матери раболепие и пороки». Все это — о Кузнецке. И именно той поры, когда Блюммер населяет его своими героями.

Роман «Около золота» задуман был как, своего рода, энциклопедия сибирской жизни за полвека. Первая часть описывает быт и нравы 30-х годов XIX века на Алтае (Ковальск), вторая — 40-е годы в енисейской тайге, третья переносит действие в Томск 60-х годов, четвертая — в Иркутск десятью годами позднее. Но Блюммеру удалось завершить только первую часть — вполне законченную по замыслу и сюжету. Наумовские сюжеты («Еж», «Паутина») бледнеют перед неторопливой «хроникой ужасов», подспудно сплетающейся под сенью патриархальнейшего и мирнейшего Ковальска.

...В речной проруби казак Сидоров находит труп младенца. Следствие ведет поднаторевший в темных делах согражданин городничий. Оказалось, что утопленный младенец — сын казначейской дочери Софьи Переченко. Щекотливая ситуация — на базарной площади ежедневно и ежечасно встречается чиновничий «свет» Ковальска. Городничий хорошо знает уездного казначея Василия Максимовича. Наслышан и о том, будто Переченко соблазнился предложением купца Зубова купить краденое золото с казенных приисков, причем, на деньги, «одолженные» у казначейства. Последовал донос. Ревизия: Переченко грозит каторга. Он продает свою дочь Софью приказчику по откупам Хлютикову, бывшему претенденту на ее руку, которому было презрительно отказано.

Второй слой действия помещен Блюммером в Барнаул (Багул). Кто же продает золото Ковальским купцам? Багульский управляющий казенным золотом Ястребов, бонвиван и картежник. И какие же «роскошные картины» быта и нравов багульского бомонда приводит Блюммер, так тесно перекликаясь с Достоевским, который барнаульский высший свет знал «при ближайшем рассмотрении» — нередко бывал у начальника Алтайских заводов, полковника А. Р. Гернгросса, знаком был со всевластным владельцем богатейших приисков маркизом де Траверсе (...«О барнаульских я не пишу Вам. Я с ними со многими познакомился, хлопотливый народ, и сколько в нем сплетен и доморощенных Талейранов»), и не их ли сколки находим мы в образах Багульских магнатов у Блюммера; не супругу ли Гернгросса имеет в виду автор,

помяная о некоей даме с немецкой фамилией, которая посылает почтой мыть носовые платки аж в Париж? Равно, не отголоски ли виденного Берви-Флеровским в багульской разгульной жизни? Золотая лихорадка порождает свой способ жизни — «Прежде это общество глохло и только, оно потопляло свои потребности в вине, убивало свое время за картами; теперь оно действовало под влиянием жгучей страсти, которая доводила его до болезненных ощущений. Чванство, властолюбие, желание возвыситься роскошью, страсть к удовольствиям пучили и заедали его». Напомним: Блюммер, Наумов, Берви-Флеровский знавали Кузнецк и Барнаул всего лишь несколькими годами позднее Достоевского. И если от Наумова мы узнаем, что «нигде так не развита система закабаления рабочего, как на приисках, где за весь свой летний тяжелый труд работник выносит в очистку лишь несколько рублей («Еж») и даже эти гроши оставляет в кабаке — «Ты робишь, робишь, жисть кладешь, а все ты нищий, а другой за твое здоровье, сложа руки, в прохладе живет. Неужто так должен жить человек?» («Паутина»), — то Блюммер намного раньше повествует в своем романе о рабочем Николае Гурине, который, опираясь на рабочих, пытается противостоять казнокраду Ястребову и его приспешнику уряднику Сунгурову и, конечно же, тяжбу проигрывает.

Осужденный быть «запоротым до смерти», Гурин, испытав унижение куда более горькое, чем порка, — Ястребов заставляет его съесть, «сжевать» несколько страниц жалобы, адресованной в высшие инстанции, и, конечно, отправленной на рассмотрение обидчикам, — отчаявшись, стреляет в Ястребова, но убивает прибывшего из Барнаула в Кузнецк ревизора и сам умирает на руках у своего друга, рабочего Фролова.

**Истина «не во благо».** — Очевидно, роман Блюммера был в большой мере документальным — не случайна столь тесная перекличка с публицистикой Берви-Флеровского и с почти что документальными рассказами Наумова. Более того, лет пятнадцать назад мне попался подлинный документ 1855 года, найденный в Тисуле (золотые и серебряные прииски) — «Дело окладного поселенца Ивана Федорова», бежавшего с приисков маркиза де Траверсе и тщетно славшего ему жалобы на управляющих, надзирателей и прочих сонм мелких своих мучителей. Избитый лозанами (розгами), Иван Федоров, «по причине ломоты в голове вследствие побоев»,

работать не может и просит его освободить с выдачей «билета», то есть «вольной». Дело не доведено до конца, и мы уже никогда не узнаем, как повернулась лютая судьба окладного поселенца Федорова. Но одиннадцать страниц упомянутого «дела» — готовый рассказ, под которым мог бы подписаться Наумов, или глава, которую Блюммер органично мог бы ввести в свой роман «Около золота».

О документальности романа говорит и другое обстоятельство. В 1885 году, когда он был полностью опубликован (вернее, первая его часть) под названием «На Алтае», как ни странно, резко критически отозвался именно Н. Ядринцев, бывший единомышленник Блюммера поры сибирского студенческого землячества. Впрочем, странно ли? Сепаратистская идея «областников» предполагала и немалую долю идеализации Сибири, ее обитателей и патриархально-соборных отношений между ними. Роман Блюммера изрядно сдувал сусальную позолоту с такого идиллического представления об едино-патриархальной Сибири, и документальность повествования и ее героев или хотя бы части их — тем более, при возможной узнаваемости (а если кто-либо из них здравствовал в Кузнецке и Барнауле — сибиряки народ крепкий!) — немало навредила бы деятельности Ядринцева и Потанина. Так или иначе, сказаны суровые слова о «ловких романах заезжих пенкоснимателей и ташкентцах-цивилизаторах». О «вредной» документальности романа «На Алтае» говорит и то, что о другой работе Блюммера — об очерке «Путешествие в места не столь отдаленные» — Ядринцев отозвался восторженно. Открывая скобку, заметим, что именно с легкого пера Блюммера и вошли в наш обиход «места не столь отдаленные» — выражение, еще до недавних пор таившее весьма тревожный смысл.

Действие романа отнесено к 1836 году, но написан роман в куда более позднюю пору, так что прототипы героев, вероятнее всего, персонажи реальные, а может быть, еще и пребывавшие у власти — чиновная братия на местах сидит подолгу, до почетного выхода в отставку.

Сам стиль романа — скорее, публицистика. Описание некоего реального случая, свидетели которого, скорее всего, еще живы в Багуле и Ковальске (Барнауле и Кузнецке) к моменту издания книги. Да и детали «детектива» столь мелко-шулерские, что не могли не за-

помниться. Чего стоит пачка казначейских банкнот, приготовленная для «сделки», в которой ассигнации переложены аккуратно вырезанными по размеру листками бумаги; или скандальный момент, который, конечно же, всполошил Кузнецк и, конечно же, не забылся: осмотр незамужних девиц повивальной бабкой для установления той, которая, родив незаконнорожденного младенца, могла утопить его в проруби; приведенные в романе главы «У телеутов», «У поляков» — живые, почти этнографические описания с прототипов. Не добрых, не злых — реальных.

Несомненно, гнев «сепаратистов» должна была вызвать глава «У старообрядцев», где бесцеремонно сняты покровы с мнимой святости «божьего человека» и затворника, — помилуйте, где же благодать, которую принесли в Сибирь ревнители истинной древней веры!.. Не лучшим образом выглядит и одна из героинь, тоже преданная и проданная Оленька, которая, побывав у старообрядцев и приглядевшись ко многим обманам, охотно превращается в мать Елену, мечтающая о своем монастыре, где ее ожидают диктаторские почести.

Добыть книгу «На Алтае» по МБА оказалось нелегко. Но, наконец, вот она передо мной, когда очерк почти что закончен. Изящными буквицами отделены главы, шрифт достаточно крупный, удобный для чтения. С первых же страниц чередуются сюрпризы. После первого листа, сообщающего, что книга Л. П. Блюмера «На Алтае» издана в С.-Петербурге в 1885 году типолитографией В. С. Апостолова на Фонтанке рядом с Аничковым дворцом, следует второй с первым сюрпризом: почти не выцветшими чернилами автограф: «Русскому поэту Сергею Аркадьевичу Андреевскому. СПб 20.V.85. Блюмер».

На титульном листе: «Посвящается Юл. Вас. Буткевой».

И, наконец, под названием первой главы «Город Ковальск и его благоденствие» — эпитафия, он же главный сюрприз.

*Tuteie vero verissimo;  
Lettore mio carissimo.*

Эпитафия на итальянском, который в Ковальске и даже Багуле прочтает, а тем более поймет, не каждый и который означает:

«Все здесь правдивейшая правда,  
Дражайший мой читатель».

Похоже, эпитафия рассчитана именно на широкого, но непровинциального и просвещенного читателя, которому адресовано правдивое описание одного из, очевидно, на шумевших казусов на Колывано-Воскресенских приисках, и где? — в тишайшем Кузнецке...

Стало быть, автор как бы сам подтверждает документальность описанной истории, и, значит, наши предположения оказались верными. Было, было отчего не любить Блюммера в мирнейшем Кузнецке, как свидетельствует А. И. Полосухин.

В «Русской старине» за июль 1905 года превосходный портрет Блюммера: благородный полноватый человек с окладистой бородой, в пенсне. Черный фрак, белая крахмальная сорочка. «Одним из наиболее оригинальных лиц 60-х годов бесспорно является тот, кому посвящен наш очерк, — пишет профессор Е. Бобров, — Л. П. Блюммер, бывший то журналистом, то эмигрантом-революционером, то ссыльным, то беллетристом, то публицистом, то адвокатом и дельцом»...

**«Археологический объект».** — Что современники оценивали Л. П. Блюммера неоднозначно — это неудивительно. Такая многогранность, а главное, плодовитость беллетриста — одних его псевдонимов набирается с десятков, — в конце жизни ставшего вполне благополучным человеком — преуспевающий адвокат, журналист, корреспондент газет «Дон», «Листок», «Дневник», в Саратове женился на дочери генерала, вторым браком — на дочери саратовского купца, и опять же — «богато», — вряд ли нравились С. Венгерову, знавшему Блюммера по революционному его прошлому и посещавшего дом Антонины Блюммер-Кравцовой. Равно сдержанно пишет он и о заграничном периоде Блюммера: «О заграничной Блюммера деятельности в качестве «революционного» журналиста составлялось весьма двусмысленное представление»...

Гораздо удивительнее, что к столетию рождения Блюммера в 1940 году авторы нескольких заметок о нем в новосибирских и иркутских публикациях упорно подчеркивают, что в романе «Около золота» «лубочная уголовщина переплетается с яркими, порой бытовыми кар-

тинами», конечно же, с упором на то, что советскому-де, читателю «интересны не уголовные истории из быта старых сибирских горных чиновников, а описание быта рабочих на казенных золотых приисках». Ибо Блюммер описал с натуры издевательство «начальства» над рабочими и пробуждение в рабочих чувства солидарности, выразившееся в попытке устройства «бунта».

...Яркие картины старого сибирского рабочего быта спасают роман Блюммера от забвения советскими читателями, — считают авторы тех лет.

...Уж будто бы? — хочется возразить публикациям полувековой давности. От забвения имя Блюммера не спасло ничто. Работы его в 80-х годах прошлого века, как уже было сказано, так и не переиздавались (за исключением фрагментов из романа, опубликованных в Иркутске в 1939 году, — «юбилейного свойства» и соответствующей идейной направленности).

Притом, надо полагать, не только описание рабочего быта заинтересовало бы сегодняшнего сибирского читателя в романе «Около золота», а именно документальность изображения «общественного климата» Кузнецка и Барнаула, возможность вписать имя Блюммера в один ряд с Наумовым, Берви-Флеровским и — дерзнем сказать — даже Достоевским (по части описания сибирского провинциального чиновничьего быта). Ведь в романе «Дядюшкин сон» мы находим немало персонажей, которых «живьем» описывает Наумов по равно знакомым ему и Достоевскому прототипам.

Не пора ли вспомнить о призабытых сибирских писателях сейчас, когда так называемая «провинциальная культура» загадывает историкам все новые загадки и сулит немало блистательных находок?

«Провинциальная культура», тем более в нашем регионе, думается, являет собой «археологический объект», надежно и варварски закамуфлированный в течение не менее полувека от историков культуры ревнителями бескорневой новизны, оказавшейся столь зыбкой и непрочной, именно ввиду лишенности питающих корней.

Сколько «забытых имен» сулит такая археология, — впрочем, забытых ли? Скорее, завуалированных все теми же ревнителями «дня сегодняшнего и только сегодняшнего». О многих таких именах в течение последних нескольких десятилетий мелькали редкие и робкие публикации — среди них видное место занимают статьи



А. И. Полосухина в самые неблагоприятные для исторической памяти годы.

И в этой книге автор еще и еще раз низким поклоном благодарит тех, кто своими публикациями той «доархеологической» поры наталкивал на имя, событие, ассоциативный мостик.

Думаю, недолге настанет «час краеведа», когда провинциальные «археологи культуры» перестанут казаться этакими чудаками-одиночками, у которых, «знаете ли, хобби: все ищут, все копают»...

Впрочем, может, «час краеведа» уже и настал?

**Мэри Кушникова.**



Л. П. БЛЮММЕРЪ

# НА АЛТАЕ

С. Петербургъ  
Типо-литография В. Г. Апостолова  
(Фонтанка, рядом с Аничк. дворц.)  
1885 годъ



# НА АЛТАЕ

Tutti é vero verissimo,  
Lettore mio carissimo.



## ГОРОД КОВАЛЬСК И ЕГО БЛАГОДЕНСТВИЕ

В Западной Сибири, в отрогах Алтая, не слишком далеко от китайской границы, живописно расположен небольшой городок Ковальск. Он лежит на обрыве, круто спускающемся к широкой реке, украшен двумя старинными церквями, полицейской каланчєю и еще каким-то сооружением, не имеющим никакого характера, недостроенным и уже развалившимся. Так как Ковальск, подобно всем городам Сибири, был некогда острогом, из-за рвов которого выходили казаки для сбора ясака с инородцев, то и в настоящее еще время он пересекается пополам широким земляным валом, в середине которого покоится собственно Ковальск, а вне тянется так называемая солдатская слободка. Впрочем, другого различия, кроме названия, между этими местностями не существует: всюду узенькие, кривые улицы, одноэтажные домишки, бесконечные огороды и значительное число заведений с притягательной надписью «распивочно и на вынос».

По «Спискам населенных мест России», в Ковальске и теперь находится 176 домов, двенадцать лавок, шестнадцать кабаков и 1128 человек обитателей; но десятки

лет назад, в начале 1839 г., Ковальск не мог похвастаться даже такой населенностью: тогда каждый гражданин этого мирного убежища положительно безошибочно пересчитал бы своих сограждан, начиная от городничего, провинциального секретаря Андрея Ивановича Васильева, человека очень видного и пронизательного, и кончая юродивым нищим Мазькою, бегавшим босиком в жесточайшие морозы. Хотя и в эту эпоху Ковальск занимал столько же места, сколько занято им ныне, но в течение четверти века многие пустыри застроились домами, банями, амбарами, алтарями правосудия и храмами просвещения, и число его обитателей, по крайней мере, удвоилось. Естественно поэтому, что статистические сведения ковальского гражданина о его одногородниках не могут не быть в настоящее время несколько сбивчивыми и отрывочными. В 1839 же году в Ковальске было всего три улицы и около пятидесяти домов.

Как счастливо и благополучно жили тогда ковальцы! В кои веки их мирное и благоденственное житие нарушалось какими-нибудь особенными происшествиями, вроде смены власти предержавшей, ревизии вновь прибывшего губернатора, вообще, наплыва иноплеменников или пожара. Самое бесшабашное пьянство, сильнейшее взаимное мордобитие служилого и неслужилого элементов, сплетни и кляузы не нарушали общей гармонии. Что пронизательный Андрей Иванович измышлял елико возможные способы собирать с граждан посильную или непосильную дань; что исправник из крестьян шипал дрова и лучину, а инородцам не всегда оставлял самую их душу; что откуп вместо спирта продавал воду, настоенную на дурмане; что городской староста Зубов три раза объявлял себя банкротом и дружелюбно сдельвался по гривне за рубль, — то о подобных вещах не было даже и речи: нечто противоположное, скорее, вызвало бы толки и пересуды, так как оно вышло бы из обыденного уровня. В самом деле, что стали бы делать ковальцы, куда девали бы они медлительно-тянущееся время, чем заняли бы свою скуку, если им не пить и не тягаться своею пьяною силою? В самом деле, чем жили бы и зачем присылались городничие и исправники, если бы они не собирали дань и не смиряли строптивых и непокорных? Как шла бы торговля, если каждый раз приходилось бы платить рубль за рубль? Ковальцы не знали иного порядка вещей, по привычке любили его, поддерживали словом и делом и поэтому благоденствовали.

Часов в пять утра просыпался в обыденные дни неслужилый и неторговый Ковальск. Летом шепелявая Сидориха первым делом бежала в сарай, доила корову и выгоняла ее в поле, потом затопляла печь и будила дочерей своих, Паньку и Аришку. Зимой она прежде всего заставляла бодрствовать своего глухого супруга, Луку Ивановича, и посылала его натаскать дров да ехать за водой. Шустрая Буланиха, ядреная вдова-солдатка, большею частью проводившая ночи или у секретаря земского суда, или у зубовского приказчика, мелкой рысью неслась в это время домой, в солдатскую слободку. Звонарь отправлялся на колокольню призвать благочестивых к утрене. Раздавался удар соборного колокола, и Ковальск мало-помалу приходил в движение. По разным углам его начиналось жеванье и чавканье. Часу в седьмом два воина местной команды были уже в только что открывшемся питейном. Сидориха качалкой колотила Аришку за опрокинутую крынку, а Знаменская, ветреная заседательница, пила у протопопицы четвертую чашку чаю с медом.

— Ах, мать попадья, — говорила она несколько в нос, — совсем, совсем она у него устроилась. Сегодня, знаете, встала я рано, только выглянула в окно, а она бежит от него; а чуть ночь — опять к нему.

— Ска-ажите! Кто бы подумал, что он с такой мразью свяжется...

Часов в восемь просыпался официальный Ковальск. Письмоводитель городничего, из выгнанных семинаристов, хватив на похмелье стакан брыкаловки, заходил в полицию за бумагами и с ними отправлялся к Андрею Ивановичу. Муж заседательши Знаменской, великий законовед с нескончаемым чахоточным кашлем, рядился с зубовским приказчиком по делу о совершенном якобы последним растлении поселенческой девки Авдотьи Пошла-вон.

— Как отцу родному говорю тебе, Николай Ильич: меньше трех радужных нельзя, — ублажал он приказчика самым дружеским голосом. — Сам посуди: дело на ревизию в губернский пойдет.

Приказчик тяжело вздохнул, уверяя заседателя, что таких средств нет и что грех обижать маленьких людей; тем не менее через час деньги заплатил и вместе с решителем судеб своих пропустил известную дозу увеселяющего дух человеческий напитка...

Вскоре сам Андрей Иванович шел для проформы в

полицию, за тем, чтобы потом отправиться к городскому старосте Василию Лукичу Зубову, тому самому, что был так опытен в банкротствах. Там за графинчиком сидел уже окружной судья.

— Вы, черти, уже за делом! — восклицал градоправитель.

— Не тратим драгоценного времени, Андрей Иванович, не тратим; в нашу компанию милости просим, — отвечал хозяин. — Зверобойчика нонече нового получил: человекоубивца настоящий.

— Шаркнем!

И они шаркали.

А в это время Сидориха таскала за волосы свою Паньку по неведомой ей самой причине (рука родительская вечным зудом страдала); Буланиха, утомленная ночным бдением, спала крепким сном и видела во сне новое платье, которое она выпрашивала от зубовского приказчика; заседательница пила чай и наливку у исправницы, где, переговорив о том, что она видела утром из окошка, гадала исправнице сперва на черволенную даму, а потом на трефового и бубнового королей.

— Ах, Анфиса Яковлевна, матинька, вам непременно антирес с дороги будет, и притом, душечка, трефовый король вас больше любит, и он авантажнее: пронзительный такой!

Исправница была еще не стара и не прочь от каких бы то ни было королей, но отдавала предпочтение именно трефовому, являвшему собою особу окружного врача, русского человека с немецкой фамилиею.

До второго часу по судам скрипели перья; в лавках мальчишки и приказчики дули чай и дулись в шашки; городничий с компаниею побывал от Зубова у судьи, потом закусил у откупного поверенного Хлютикова, что не помешало ему часу во втором плотно пообедать и выпить у себя дома.

После обеда, часу до четвертого, а иногда и до пятого, Ковальск представлял сонное царство, достойное мягкой кисти покойного Жуковского. Даже Мазька, нередко в течение ночи промышлявший на чужих огородах, и тот непременно спал в это время. Плотники, два года строившие у кладбища новый соляной магазин, соорудили себе для послеобеденного спанья домишко, далеко лучший самого магазина. Тогда раздавался общий храп; спали крепко, словно после тяжких трудов, летом — едва ли не в костюмах первых прародителей наших на крыль-



це, в амбарах и завознях; зимой — на лежанках, на полатах, под тяжелыми шубами.

Вечеру Ковальск пробуждался уже не для дела, а по необходимости и только для веселья. Хотя там особенных работников никогда не бывало, все делалось без пристального труда, вольготно, исподволь, с разговором и роздыхом, но и эта работа производилась только утром. С обедом всякий труд кончался. Восстав от сна, великие и малые, бедные и богатые, — все одинаково баловали себя чаем, семейным, цветочным или кирпичным, расходились по гостям или принимали у себя гостей. Винтовкина шла к Винтовкиной же или к Сунгуровой; Бехтенева к Бехтеновой же или к Сургутановой; исправница шла к городничихе или городничиха к почтмейстерше. Если где дело доходило до домашней выпивки достопочтенной дамской компании, то хозяйка потчевала гостей, обнося налитыми рюмками на небольшом подносе.

— Поелозьте, милы гости! — возглашала она.

— Сами знали, надвигали, наелозились! — отвечали гости на радушное приглашение.

— Да хоть пригубите!

— Много благодарствуем и так.

Впрочем, особенные церемонии продолжались недолго: после двух-трех рюмок, выпитых с гримасами, развеселившаяся хозяйка возглашала скромным баском:

— Что вы так сидите, глаза куксите да чапаетесь, — давайте-ка хайлать!

И начиналось хайланье, т. е. пение то чувствительных, то веселых романсов, причем «Сени мои, сени» переходила в песню об отчем доме, который караулит какая-то верная собака.

Мужчины в то же время собирались на огонек. Судья, страшный картежник, хваставшийся трёхрублевым выигрышем и хранивший гордое молчание при проигрышах трехсот рублей, отправлялся по улице высматривать — нет ли где огонька.

— Пошел я, знаете, прогуляться, — говорит он захваченному хозяину, — смотрю: у вас огонь... дай, мол, зайду на полчаса — не картишки ли там...

Скоро на огонек являлся Знаменский, Крестовоздвиженский, Малых, Седых, Черных и т. д., и картишки составлялись.

Угощение хозяину становилось недорого, так как состояло, по преимуществу, из домашних продуктов, вроде

капусты и огурцов; откуп же с чиновниками не торговался и на них только прогадывал.

Из гостей возвращались в разное время и в разных видах. Дьяконицу Благовещенской церкви ежедневно уносили на руках, причем она непристойно бранилась и заявляла, что она «не какая-нибудь», а состоит в офицерском чине. Знаменский, несмотря на чахотку, нередко переночевывал в грязи на улице.

— Друг мой, — вопиял он смотрителю больницы, — подыми меня.

— Нет, брат, поднять тебя — я не подниму, а около тебя сам, пожалуй, лягу.

И они засыпали в объятиях.

Но все это не мешало благоденствию, и ковальские граждане мирно благоденствовали без печали и тревог.



## У ПРОРУБИ И НА СОВЕТЕ

Был февраль 1839 г. Мороз стоял вопиющий, снег скрипел под ногами, слабогрудые положительно не выходили на улицу, так как у них захватывало дыхание; местные длинношерстные собаки с воем царапались в двери кухонь и домов. Протопоп в праздничный день отказался служить обедню: у него руки чуть не примерзли к кресту и чаше. Буланиха — на что считалась юркою! — но и та не согласилась на путешествие из слободки в городок к своему секретаришке. Судья томился и унывал, не имея возможности лично разыскать огонек. Вообще несуетливый Ковальск в эти два—три дня морозов совсем заглох.

Бедный Лука Иванович Сидоров! Несмотря на его

глухоту, достоинство сибирского казака и почтенные лета, он находился под башмаком не только шепелявой, но и воинственной своей супруги! Она, жестокосердная Сидориха, не вняла слезным мольбам Луки Ивановича и в эти жестокие морозы отправила его на реку за водою. Не без затаенного ропота обрядил Сидоров белянку, укутался ягою, обвязался всеми попавшими под руку тряпками и пустился в дорогу, которую круглая кобылка знала не хуже самого хозяина.

Живо доехал Сидоров до проруби, четырехугольной небольшой выбоины во льду. По привычке, машинально, без всякой мысли, он хватил черпало и старался проворнее наполнить его водою. Но какой-то незримый предмет мешал исполнению его благого намерения. Сидоров со злостью глянул в прорубь.

— Экие дьяволы, шайтаны, кикиморы, варпаки, чтоб их язвило! Какую пакость бросили в прорубь... По такому холоду выворачивай ее!

В проруби он заметил корзину с тряпьем и мочалами.

С понятным бешенством стал он на колени и начал вытаскивать обледеневшую корзину. Выворачивая, он наклонил ее на бок, тряпки осунулись, иные выпали, и Лука Иванович с ужасом увидел в корзине мертвого ребенка.

Быстрее стрелы Сидоров бросился к дровням и начал стегать белянку.

— Ну, дохлая, ну, язви тебя!

Впрочем, как ни был испуган Сидоров, он опомнился, и напрасно Сидориха с презрением взирала на умственные операции своего супруга: увидев полицейскую каланчу, он порешил, что о необычайном событии необходимо объявить. «Таскать будут, — вдруг подумал он. — Таскаты!.. А если кто видел меня ехавшим за водою, хуже волочить станут!» И он остановился у полиции.

Там заседал только письмоводитель Андрея Ивановича. Он был в духе и порядочно пьян.

— Ваше благородие, — торопливо возгласил Сидоров, — беда: ребенок в проруби.

— Что-о-о? — глубокомысленно переспросил чиновник.

— В проруби ребенок.

— Чей?

Сидоров остановился и оторопел: неожиданный вопрос поразил его.

— Чей-то, — ответил он неуверенно.

— Знаю я вас, подлецов, сами бросите, а потом объявлять идете.

— Ну уж, ваше благородие, неправда! Я сам испужался.

— Ладно, ладно. У какой проруби?

— А где воду берут, тут, в самой проруби.

— Как же ты видел?

— По воду ездил. Черпать начал — а там корзина.

— Ну?

— А в корзине ребенок в тряпках лежит, как ледяной, — аж жалко! И уж испугался я: теперь кумаха трясет.

— То-то! — неизвестно почему заметил письмоводитель.

Несколько минут он размышлял. Сидоров в это время трусил едва ли не более, чем при первом виде ребенка. «Непременно таскать будут! — с ужасом думал он. — Вот горе-то!».

— Ну, жди здесь, — сказал, наконец, письмоводитель. — Я Андрею Ивановичу доложить пойду.

В обыкновенные дни, при обыкновенных обстоятельствах письмоводитель не решался являться к своему начальнику слишком навеселе; вследствие чего он иногда не бывал на докладах по несколько дней сряду, пока Андрей Иванович не приказывал посадить его в «холодную», род домашнего карцера, место отеческой расправы. Но при экстраординарных событиях Андрей Иванович прощал своему подчиненному всякие вольности! Рыбак рыбака видал издалека.

По пурпурному цвету лица и неправильной речи вошедшего к нему письмоводителя Андрей Иванович понял, что его подчиненный весел и явился к нему с особенным докладом.

— Эх, братец, — заметил он без малейшей строгости, — ты опять того...

— Виноват, Андрей Иванович, есть маленько, вчера на пельменях был, так для возбодрствования дернул — и охмелел.

— Стара стала, слаба стала!

— Точно, слабость чувствовать начал. Прежде, бывало, по полведра...

— Ну, что особенного? — перебил его Андрей Иванович.



— Дело серьезное-с. Казак Сидоров заявил, что младенец новорожденный в прорубь брошен.

— Вот не было печали — черти накачали, — с досадою воскликнул городничий, — возись с ним!

— Нет-с, Андрей Иванович, это не так. Это — Бог не выдаст, свинья не съест — дело хорошее.

— Что?

— Я говорю, что дело хорошее, с благодарностью.

— С мертвого-то ребенка? — с недоумением и пожатием плечами спросил Андрей Иванович.

— Ничего-с, с живых можно. По писанию: заутро услыши глас мой. Повод есть-с.

— Не по домам же его таскать?

— Зачем по домам? Ребенка и похоронить можно: он младенец невишный. Родителей преступных обречь следует.

— Что же, бабам под юбки лазить, — так по-твоему?

— Именно-с, — только не бабам, а девицам. Бабам резону нет грех на душу брать: у них это дело житейское. Вот юниц поголовно освидетельствовать — дело благородное-с.

— Ха-ха-ха! — весело заржал Андрей Иванович. — Ну, брат, недаром я тебя философом прозвал — изобретательно!

Философ, в свой черед, весело осклабился.

— Ты, брат, всякую мудрость произошел, — со смехом продолжал городничий. — Да, да! Это дело рук наших. Вели простых девок в полицию согнать — там докторское дело, а к купцам и благородным я сам с бабушкой поеду. Молодец ты, братец, истинно молодец! Ступай же на черную половину да шаркни там.

— Благодарим-с, Андрей Иванович, пойду-с. Я всегда так, Андрей Иванович, — гулять гуляю и служить служу... Вот я хотел попросить хоть рублишек десять — очень нужно... хоть в счет жалованья.

— Пропить-то! Да ну, черт с тобой, возьми и так; только все бумаги по этому делу подготовь.

— Помилуйте, Андрей Иванович, все будет исправно!

Письмоводитель с почтением принял десятирублевую бумажку и вмиг был за дверью.

— Эй, воротись, — кликнул его городничий.

Философ с недоумением вернулся.

— А ну, как это назвать по латыни? Мулла в пене, сеном накормлен — так что ли?

— T. e. nulla paena sine crimine. Нет-с, Андрей Ива-

нович, это не так. Это-с, sine crimine multae рапагum.

— Как же это по-божески?

— По русски-с это значит, в переводе на вольном духу-с: с одного вола дери семь шкур.

— Ха-ха-ха! Вот так философ!

Чтобы понять необычайное событие, взволновавшее, несмотря на трескучие морозы, весь Ковальск, необходимо уклониться несколько в сторону.



## ОТЕЦ И ДОЧЬ

Лет пять назад приехал в Ковальск из Восточной Сибири новый казначей, Василий Максимович Переченко с больной женой и шестнадцатилетнею дочерью Сонею. Василий Максимович, как оказалось из его формуляра, был сын поселенца Канского округа Енисейской губернии, получил домашнее образование, имел чин губернского секретаря и сорок девять лет от роду. Физиономия его не отличалась красотой и благородством; фигура походила на медвежью. Едва познакомившись с местными властями, он перестал бывать почти у всех, не забывая только необходимые визиты, на которые смотрят очень строго: да и для других он запер свои двери, отговариваясь нездоровьем жены. «Медведь по рылу, складу и ладу», — так характеризовали его ковальцы. На службу Василий Максимович являлся рано, зорко смотрел за всем и из подчиненных даже бухгалтеру не подавал руки. С инородцами, платившими ясак, он обходился круто, принимая каждую шкурку с полушкуркою, и его бедняки боялись не менее исправ-

ника. «Люта дюжа», — говорили те из них, которым хоть сколько-нибудь давался русский язык. Плательщики крестьяне и мещане отзывались о нем не лучше, даже мир чиновников его несколько потрухивал.

— Протобестия! — выразился о нем однажды Андрей Иванович, — я в Томске про эту штуку слышал. Он у начальника рудника сперва лакеем, а потом писцом служил да на него же такой донос подал, что того по шапке. Посельщик — добра ждать нечего!

— Он, говорят, и жену-то морит, — вклеил свое слово чахоточный Знаменский.

— Протобестия, сказано.

Эта кличка так и осталась за Василием Максимовичем, и она во многих случаях охраняла его от наплыва сослуживцев, городских и иногородних: не только ковальские власти бывали у него лишь в торжественные дни, но и чиновники казенной палаты, ездившие на ревизию, останавливались не в квартире Переченко. «Не останавливайтесь вы у этого протобестии, — говорили им ковальцы, — к вам нельзя будет заглянуть». Ревизоры, любившие кутнуть и в банчишку переметнуться, находили это предостережение уважительным, хотя и сердились на Переченко, но сделать ему ничего не могли; положенный оброк он уплачивал начальству крайне аккуратно, даже с излишком.

Домашняя обстановка Переченко была также невесела. Больная жена собственно не лечилась, но редко-редко вставала с постели. Худая, полусгорбившаяся, она носила следы прежней красоты, которая, при благоприятных обстоятельствах, еще цвела бы роскошно и ярко; но болезнь и видимое житейское горе рановременно заставили эту красавицу походить более на мертвеца, чем на живое человеческое существо. Бедная женщина, лежа в мрачной комнате, по целым дням перечитывала старые книги и письма. Василий Максимович в ее комнату никогда не заходил, и только появление Сони, словно луч солнца, освещало эту полугробницу. Мать несколько оживала и жадно прислушивалась, когда Соня, для ее развлечения, подолгу читала ей вслух давно знакомые страницы. Но Переченко всегда требовал, чтобы дочь хозяйничала и у него за столом и чаем; она была необходима и его сумрачному существованию, имевшему еще только одну радость, одно наслаждение: составление каких-то счетов и расчетов да раскладывание денег по пачкам. И счета, и деньги Переченко тщательно хра-



нил в окованном толстом железном сундуке, прятавшемся под кроватью. Утром Соня была сиделкою матери; с обеда она работала в кабинете отца. Дни шли однообразно, медлительно, грустно...

Через полтора года, по приезде в Ковальск, жена Василия Максимовича умерла. Смерть ее поразила Соню, которая привыкла занимать бедную больную, но в дом эта смерть не принесла перемены. Одинокое почувствовала себя Соня, тем более, что с каждым днем она вырастала и хорошела, и голова ее просила работы, а душа ощущений; но Переченко, как и прежде, никого не принимал; стены старого дома глядели неприветливо и угрюмо; в доме была та же тишина, словно боялись потревожить больную, давно лежащую в сырой земле. Правда, красота Сони привлекла ей много поклонников; подкутивший черномазый сын исправника однажды перелез даже забор, чтобы взглянуть в опочивальню своего бога, но, порядочно искусанный цепною собакою, он с позором возвратился вспять и так же скрывал свою любовь, как и неудачу; Хлютиков, успевший захватить малую толику хозяйского добра, предлагал Василию Максимовичу породниться, но Переченко обошелся с ним не лучше цепной собаки. Винный ходок обещал ему торжественно заплатить за это; в ожидании же мести поехал в Томск и женился там на толстой, плечистой вязниковке. Только Соня и не подозревала трагикомедий, вызванных ее существованием. Проводя жизнь без подруг, неспешно занималась она хозяйством, работала при отце, в свободное время перечитывала книги, оставшиеся после матери. Часто-часто ей вспоминались другие, более счастливые годы, когда она, резвый ребенок, жила в далеко лучшей обстановке. Это было где-то далеко. В высоких горах гнезился рудник, и подле острога для каторжных там и сям были разбросаны небольшие домишки. В одном из них жил Василий Максимович, не такой мрачный, как теперь, и мать, здоровая, веселая, быстро перебегавшая от предмета к предмету, с места на место. К ним ходили какие-то декабристы, хоть и каторжные, но хорошие, добрые, славные люди. Один из них особенно часто брал Соню на колени, ласкал ее, показывая ей книги и картинки, учил ее — и сильно любила Соня этого дядю Женю, как называла она своего каторжного друга. И мать, по преимуществу, уважала этого странного человека, дорожила каждым взглядом и словом его. Сколько длилось это счастье —

Соня не могла определить точно: иногда ей казалось, что в таком счастье прошло много лет; но чаще она могла насчитать три—четыре года... Вдруг грянула непонятная ей буря, совершенно изменившая окружающую обстановку. Соне было тогда около одиннадцати лет. На дворе стояла весна, так и звавшая в горы, на воздух. Девочка не была в комнатах почти целый день; она бегала в веселом кругу ребятишек, обедала в гостях и уже в сумерках возвращалась домой, свежая, разгоревшаяся, звонко хохоча своим серебристым голдсом. Тут ей представилась другая, еще не знакомая ей картина. Мать, бесчувственная, растерзанная и окровавленная, лежала в гостиной на полу, под ногами Василия Максимовича, который бешено топтал ее, рыча, как дикий зверь, Соня вскрикнула. Что было с ней потом, она никогда не могла припомнить. Только через три недели она пришла в сознание. Вокруг было темно и душно; в соседней комнате раздавались грубые звуки. Она прислушалась.

— Вы велели его заковать? — говорил кто-то.

— Велел.., и не то еще будет!

Ей показалось, что последние слова произнес ее отец. Но разве это его голос? Сколько в нем жестокости, злобы, ненависти и, быть может, отчаяния?

По выздоровлении Соня не видела какой-либо радости: дом стал походить на могилу; а на площадке, где обыкновенно резвились дети, она заметила, что все ребятишки, прежде с гиком приветствовавшие ее приход, теперь от нее отстранялись, и она не была желанным гостем в их забавах.

— Леночка, Леночка! — обратилась она на первых порах к своей любимой подружке, дочери начальника рудника, — за что ты на меня сердись? Ведь я вам ничего не сделала...

— Твой папка — подлец и доносчик! — важно ответила ей Лена, очевидно, повторяя чужие слова.

И она отошла прочь.

Бедная Соня, не зная силы этих выражений, задумалась; но некому было разрешить вопросов, пробудившихся в ее душе. Мать еще долго-долго не вставала с постели, и, когда Соня ласкалась к ней, она могла только целовать ребенка и плакать; к отцу подступить — страшно: так зло и мрачно глядел он.

Только однажды Соня встретила неожиданную, но тяжелую ласку. Одинокая девочка побрела по дороге, ведшей из рудника на большой тракт. Дорога вилась

по скалистой горе, из-за которой вдали виднелись радужные белки и черные сопки. Широкая группа облаков быстро неслась по небу, то пропуская живой луч солнца, то укрывая последнее своею густою дымкою. Летний жар умерялся снегом белков. Вдруг она услышала сзади себя шаги и звуки цепей. Обернувшись, она вздрогнула: несколько конвойных вели каторжных, и в числе их дядю Евгения. Соня с трудом узнала его: один ус, половина головы и бороды были выбриты; на плечах, в виде ранца, висел арестантский малахай; на босых ногах бряцали цепи. Только любовь могла подсказать ребенку, что он в этом уроде видит своего друга. Соня бросилась в кучу арестантов и с неудержимым плачем повисла на шее каторжного.

— Дядя, дядя! — судорожно вскрикивала она. — Что с тобою сделали?

— Полно, Соничка, не плачь! — уговаривал ее несчастный; а у самого слезы катились градом, несмотря на все желание удержать их.

Другие арестанты и конвойные молча отошли в сторону: у иного из них тоже накалилась слеза.

Долго ребенок не отпускал своего любимца; его ручки словно приросли к несчастному другу. Но нужно было идти дальше. Каторжный, тихо освободившись от Сони, вынул из мешочка большой золотой крест.

— Слушай, Соня, — сказал он, — этот крест передай ты маме, только чтоб она одна знала о нем. Скажи ей, чтобы хранила его на память обо мне... а потом передала тебе. Крепко-крепко, Соня, люби свою маму: теперь, кроме тебя, у ней нет друзей.

Это завещание было выполнено. Соня, возвратившись домой, тихо прокралась в спальню больной матери и надела на нее крест.

— Это от дяди Жени... Его увели... Он сказал, чтоб я тебя любила.

Если б для бедной матери Соня могла стать когда-нибудь еще дороже, если б материнское чувство и без того не было уже по край полно, то этот крест был бы новою могущею связью между ними.

Вскоре семейство Переченко уехало из рудника, и путь его был далек. В глазах Сони промелькало несколько городов, много деревень, а еще более дикого леса, гор, озер и рек...

Наконец для нее настало ковальское житье,



## КАЗНАЧЕЙ И ГОРОДСКОЙ СТАРОСТА

Под квартиру Василий Максимович нанял дом у Зубова, почти рядом с казначейством. В течение первых двух месяцев он переменял четыре кухарки, так как они оказались и болтливыми, и пьяницами, и, наконец, нашел бабку, некогда богатую крестьянку, у которой варнаки при грабеже заимки убили мужа и ребенка, а у самой, выпытывая деньги, жгли пятки и вырезали язык. Баба казалась полупомешанною, но работала усердно и хорошо, и Переченко, по-видимому, очень дорожил ею, потому что, несмотря на свою скарედность, по праздникам делал ей грошовые подарки. Найти подходящего дворника было труднее. Но однажды Василий Максимович забрел в земский суд. Там непрременный заседатель допрашивал двух пойманных бродяг.

— Тебя как зовут? — обратился он к испитому плюгавому мужичонке, с следами клейм на лбу.

— Отче-наш, — с наглостью отвечал бродяга.

— Ты варнак, каторжный, каналья! — взбесившись, заорал непрременный.

— Не извольте, ваше благородие, притеснения делать: они при допросах не полагаются. Я не варнак, а дворовый человек Казанской Божьей матери; прикажите справку на этот счет сделать.

— Я тебе задам справку! — горячился чиновник.

— Не испужаете... А вот, что показывают, извольте писать: что, мол, зовут меня Отче-наш, а по прозванию Махни-драло.

Непременный плюнул и начал допрашивать второго подсудимого, красивого парня лет двадцати.

— А ты кто?

— Меня зовут-с Иже-еси, а коли он Махни-драло, то Я-за-ним; я ему младший брат прихожусь, — ответил бродяга, указывая на своего товарища.

— Вот народец-то! — возопил непременный. — В острог их!

— Ничего-с, место теплое и знакомое; а то на дворе студено становится. Благодарствуем-с.

Переченко стал всматриваться в Отче-наш, и, когда непременный вышел, он подозвал к себе бродягу.

— Московский! Ты когда бежал из рудника? — спросил он вполголоса.

— Ах, батюшка, Василий Максимович! Вот гора с горой не сходится, а человек с человеком всегда может. Только вы, Василий Максимович, не извольте объявлять — кто я: а иначе красного петуха пушу по вольной волюшке гулять.

— Вот дурак-то!

— Родом так.

— Разве я тебя на то спрашиваю? Я думаю тебя из острога взять в работники.

— Нет-с, я в работники не пойду, в остроге лучше... А вот Мишку вы возьмите, парень молодой; головой ручаюсь — никогда из вашей воли не выйдет; я вам, только вам, батюшка Василий Максимович, секрет скажу...

— Так пусть он объявится как-нибудь.

— Это можно-с.

Отче-наш отошел в угол и минут с пять шептался с своим товарищем. Когда вошел непременный, Иже-еси принял покорный, чуть не детский вид.

— Ваше благородие, — кланяясь и умильным голо-сом заговорил он к непременному, — простите меня за глупость. Я объявиться желаю.

— А вот это лучше, — с понятным довольством заметил чиновник. — Кто же ты?

— Михайло Сердешников, бессарабского помещика Капдинаки крепостной крестьянин, Хотимского уезда, деревни Белой.

— Далеко же ты забрел!..

Показания были сняты, и тогда Переченко заявил, что он этого парня желает взять к себе в работники: «Парень, мол, молодой и с раскаянием». Так как в Ковальске арестанты в долгое время своей подсудимости

сплошь и рядом работали на чиновников, то просьба Василия Максимовича была вполне обыкновенна, и бывший Иже-еси тотчас же поступил к нему на службу. Отче-наш за рекомендацию получил от Переченко рублевую бумажку и через две недели бежал из острога. Впрочем, до побега он сказал Василию Максимовичу, что Михайло вовсе не Михайло, а Алешка, ярославский фабричный, бродяжничающий после убийства им мужа своей любовницы. Таким образом, мнимый Михайло был в руках своего хозяина, и своеобразная прислуга находилась в полной гармонии с остальной обстановкой дома Переченко.

Года через два после смерти жены, часов в восемь вечера, к воротам дома, занимаемого Василием Максимовичем, подошел Василий Лукич Зубов. Не сразу решился он постучать в калитку; но, наконец, перекрестившись, взялся за ручку. Залаяла собака, и почти тотчас же появился Михайло.

— Вам чего? — спросил он Зубова.

— Василия Максимовича очень нужно видеть.

— Нельзя.

— Ты, малый, сперва поди-ко ему доложи, что хозяин дома пришел по нужному делу.

— Ну, постойте.

Василий Максимович сам удивился необычному посещению, но Зубова принял; впрочем, хотя сам ипил чай, однако гостю не предложил его.

— Вы уж не насчет ли дома? — спросил он Зубова, — так ведь условие заключено до июля следующего года; деньги же я плачу аккуратно, а вперед не дам.

— Нет-с, Василий Максимович, дом дело плевое-с, не стоит толковать. Плательщик вы, что напрасно говорить, тоже аккуратный.

— Ну, так что же?

— Дело есть, большое дело...

— В чем?

— Как сказать? Так нельзя-с.

Зубов начал перемищаться и вообще чувствовал себя крайне неловко, отчасти по самому существу предлагаемого дела, отчасти же от неласкового приема Переченко.

— А нельзя — так нельзя, — резко заметил Василий Максимович. — Я торговых дел не знаю.

— Дело делу рознь, Василий Максимович, о пустяжном деле я и не пришел бы толковать с вами.

— Так чего же вы мнетесь?

— Боязнь-с: дело государственное.

— Политические преступники? — живо спросил Переченко.

— Нет-с, полевтика — это только один обман; мы туда не мешаемся.

— Так говори же, что?

— Зо-о-олото, — протянув, сказал Зубов.

— Ну?

— Золото можно купить, — едва проговорил гость. Переченко задумался.

— Настоящее? — спросил он, не обращаясь прямо к Зубову.

— Настоящее. С кабинетских промыслов.

— Кто продает?

— Опаски нет: само начальство.

— Много?

— Три пуда с половиной; в случае чего можно и больше: под рукою.

Переченко задумался еще сильнее. Перед его глазами посилось или воспоминание какое, или расчет алчного человека. Было б заметно и не для одного Зубова, мужика, в существе, хитрого и ловкого, что дело интересовало его.

— Почему? — резко спросил Переченко, глаза его горели.

— Шесть рубликов.

— 576... 38.400... Сто пять тысяч двести... Но где продать, где? — тревожно-вопросительно сказал Василий Максимович. Разве в Кяхту сбурить?

— Я сам поеду в Ирбит.

— Тебе не поверю.

— Дома, лавки, все заложу... законным актом, коли пойдете в половину. Ведь это только начало, а что дальше будет, что дальше будет! Следующий год — сколько угодно, сколько угодно! Это только почин... Василий Максимович! Не убейте дело. Я сыт буду, а вам еще лучше. Горные — люди благородные, их слово свято.

Долго продолжалась у них беседа: Зубов ушел домой за полночь, и притом совершенно трезвый, что с ним редко случалось. Соня крайне удивлялась такой необычайной беседе отца и чуть ли не первый вечер провела без своей несколько тяжелой компании...

На следующий день Василий Максимович пришел в казначейство слишком рано и несколько встревожен-

ный, словно больной, словно чадный. «Ничего, ничего», — повторял он несколько раз без всякого повода и отложил из казенных денег сто тысяч рублей (ассигнациями). Зубов тоже не вовремя появился в казначейство и ушел отсюда с очень оттопыренным карманом. Перед его посещением в окружном суде была совершена закладная дочери господина губернского секретаря Переченко на все имущество городского старосты, как движимое, так и недвижимое, в количестве ста шестидесяти тысяч руб.



## ЗОЛОТОЙ ПРИИСК

В 1836 г. на кабинетских землях, верстах в полтора-раста от Ковальска, в одном из маленьких притоков реки Т-ми поисковой партией было открыто месторождение золота. Начальство признало прииск благонадежным и определило производить в следующем году предварительные и капитальные работы. Вследствие этого, еще в зиму на приисках появились отряды рабочих, которые, едва построив балаганы вблизи первых турфов, выбили новые и ударили шурф. По всем данным содержание золота оказывалось от двух до трех золотников на сто пудов песку, турфа были невелики, и все условия крайне благоприятны.

Начальником завода приехал из Багула Лука Ирнархович Ястребов, молодой горный инженер, ловкий, остроумный, с некоторой склонностью к либеральному по тому времени сочинительству. Он, вскоре по приезде в Сибирь, стал известен своему начальству четырехтом-



ным романом, где под легким сквозным покрывалом перемены имен описал «Путешествие по треволненному житейскому морю» некоего т-ского пройдохи, подвизавшегося на поприще золотопромышленности. Этот пройдоха умер недавно в больших чинах, в большом почёте, оставив пятимиллионное состояние; но в 1836 г. он только оперялся и действительной силы не имел; поэтому насмешки над ним Ястребова очень понравились злорадному человечеству, прикосновенному к золотому делу. Один из багульских тузов, которых, как в карточной колоде, полагалось по штату четыре, уразумел, что из сочиняющего валета очень скоро может вырасти видный король, оказать молодому офицеру особенное внимание и женить его на даме своего козырного семейства. Ястребов в первое время только ветреничал и в суть горной службы не вникал. Банк, бостон и лансье оказывали ему благосклонность не менее тестя, и около двух лет он мог ежегодно проживать от пятидесяти до шестидесяти тысяч (ассигнациями), не занимаясь службою и не вникая в ее секреты. Избалованный счастьем, Лука Иринархович даже несколько свысока, с некоторою пуританскою брезгливостью посматривал на остальную братию, заедающую, как он выражался, черствый кусок хлеба несчастного горного рабочего. Но времена переменчивы: на третий год картежное счастье оставило Ястребова: кроме нескольких тысяч долга, у него ничего не стало; он жил изо дня в день, занимая роскошный дом тестя и деньги у своих приятелей.

Необходимо стало остепениться; пришлось из идеалиста и поэта сделаться реалистом и чиновником, отправляемым на кормление. Кстати, на только что открытом промысле, прозванном Царево-Константиновским, ставились работы: благодаря значению тестя, Ястребов получил управление прииска.

Не без самонадеянности и легкомыслия поехал он на дело; молодая энергия сил подстрекала его; ему хотелось наделать чудес и показать свои познания и ум. Еще недавно совершенно дикая, глухая, угрюмая местность, где только изредка показывались медведи, волки да изюбри, огласилась жизнью, закипела деятельностью — и по ней, словно волшебством, в два месяца вырос хорошенький деревянный городок. Домик для себя Ястребов выстроил уютный, миниатюрный, красивый, с башенками и балкончиками; для каждой артели человек в двадцать и для отдельных семейств были назна-

Чены особые казармы и избышки, в центре группы которых возвышались кухня, хлебопекарня и магазины с провiantом, фуражом и материалами. В стороне, через речку, тянулись конюшни, кузница, баня. Общий вид был очень красив, так как по обеим сторонам приисковой площади подымались огромные горы, выходявшие из одного узла. Покрытые лиственницей уступы шли за уступами, образуя постоянные ущелья, враз пересекающиеся новой грядой гор. У подножия узла несколько встретившихся ключей образовывали золотосодержащую Константиновку, змеею огибавшую приисковые строения изящной и даже отчасти изысканной архитектуры.

Ястребов нередко любовался им созданным уголком, работал усидчиво, хлопотал усердно; предположения постановки и ведения работ составил он очень недурно и находчиво; с понятным удовольствием он посылал отчеты о своих подвигах... Но в Багуле отчетам этим, составленным не без литературных замашек, вове не дивились, так как... никто им не верил. Дело в том, что цены в них были выведены не менее значительные, чем в отчетах других промысловых управляющих. «Если в ценах врет, то и в работах врет», — добродушно замечали знатоки дела, чиновники контрольного отделения багульского горного правления. Но они ошибались — зане все закупы делал не сам Ястребов, увлекшийся теоретической частью и не трогавший казенных денег, а младший урядник первой статьи Сунгуров, заведывающий, на правах классного чиновника, материалами и действительно не положивший охулки на свою опытную руку.

Пришла весна, началась промывка. Первые рапортики о добыче были блистательны.

По смете определялось намыть золота около 6 пудов, а по промывкам стало необходимым ожидать более десяти. Что ни день — из пасти земли выхватывали не менее 5 фунтов. Ястребов, сидя при окончательных промывках, у самого вашгерда, и нередко обдаваемый брызгами, как дитя радовался, когда при свете ярко пылавшей бересты мало-помалу отделялся металл от каменьев и песку, а потом от глянцевито-черного шлиху. Хотя это золото было чужое, но он с любовью, чуть не с жалостью ожидал его появления: все бы больше и больше?.. Чувство это непонятно, не имеет прямой логи-

ческой причины, но знакомо каждому бывшему на приисках.

Впрочем, нашелся-таки на свете человек, которому странна и непонятна казалась вся деятельность Луки Иринарховича: его тесть. «Черт знает что! — восклицал про себя этот туз, — отчеты как отчеты, а денег ни кредиторам не платит, ни жене не шлет (жена Ястребова на прииск не поехала)... Или уж он такой ловкий, что ни бог свечки, ни черт калача от него не дождутся?»

Вследствие такого недоразумения, Ястребов уже в июне месяце получил официальное предложение явиться в Багул для объяснений по делам службы. Сперва он взбесился и приготовил резкий ответ, что он занят, что ему нельзя отлучиться; но потом передумал и поехал: его воображению явилась обольстительная картина багульского житья, игры и, наконец, давно забытых жениных ласк.

— Ехать, правда, глупо! — подумал он.

Тесть встретил Луку Иринарховича как-то неопределенно: ни сухо, ни очень сердечно; начальство было любезно, но поглядывало вопросительно; только веселая молодежь отнеслась к Ястребову сочувственно.

— Вот игра-то будет, — говорил щеголеватый Обыдович, недавно приехавший из Петербурга, — Ястребов пожаловал!

— Деньжат-то, я думаю, привез! — не без вздоха заметил Замурзуев, открывший Константиновку и, сверх чаяния, не попавший туда управляющим.

— Он и без денег всегда желанный гость, — возразил Анзаров, всегда пикировавшийся с Замурзуевым.

— Ну что ж! Хорошо тому жить, кому бабушка вожит...

Дня через четыре по приезде тесть усадил зятя в своем кабинете и приказал подать бутылку теплого лафита.

— Право, не понимаю, — заговорил, между прочим, Ястребов, — зачем меня вызвали сюда: до сей поры никто ни слова... да... кажется — и дел-то, требующих объяснений, нет...

— Будто? — иронически спросил тесть: — Я, я, Лука Иринархович, хотел переговорить с тобою серьезно et sans façon.

— А!.. слушаю.

— Видишь ли, mon cher, место ты имеешь завидное, могу сказать — fort profitable, по отчетам видно, что де-

ло ты понимаешь, действуешь очень основательно... Что же значит, что и долгов ты не платишь, и домой денег не шлешь?... Или ты опять проигрался?.. Но на Константиновке играть не с кем!

— Карт я в руках не держал, — ответил Ястребов. — Дело проще: денег не имелось...

— Как так?

— Неоткуда было взять, мой Бог!

— Закуп фуража, хлеба, припасов, инструментов, тачек, расчет рабочих и работ *et tout cela!* — с изумлением воскликнул тесть.

— Покупал все Сунгуров; экономии каких-то двести двадцать рублей, которые я подарил ему.

— Да он каторжный! Да я его с белого света сживу, чтоб он вперед таких штук не позволял себе!.. Ведь ты даже в настоящее время мог иметь уже около сорока тысяч, не считая последующей экономии от кормов лошадей и от работ турфовых и пластовых!.. Ведь у тебя, по крайней мере, сорок лошадей показано единственно по отчетам... разрез вполтину менее отчетного.

— Нет, все семьдесят лошадей налицо, и работы — как показано по отчетам, — хвастливо отвечал Ястребов.

— Но ты, Лука, сумасшедший! *C'est qu'un crime — c'est la stupidite impardonable!*

— Да ведь так по смете.

— По смете! Мало ли что есть в смете! Разве для нас с тобой существует она, эта смета?

Туз залпом выпил полный стакан лафита.

— По смете так! — продолжал он в сильном волнении, — но куда при условиях Константиновки ты разметишь семьдесят лошадей? Где найдешь им работу?

— Работа находится, — возразил Ястребов.

— *Tiens, tiens!* Я не думал, что мой зять, автор четырехтомных романов, так... так... прост, наконец! Смета!.. А что же ты, позволю спросить, поделишь с ревизором, когда он приедет в августе? Покажешь ему семьдесят лошадей — так, что ли?.. Ну, а правление тоже должно терять через тебя *ses profits constitues?*.. Или и ему ты приведешь напоказ своих кляч?

Ястребов почесал нос.

— Но один не возьмешь? — спросил он косвенно, не смотря на тестя, который при этом вопросе вытаращил глаза.

— А Сунгуров для чего к тебе приставлен? — насилиу промолвил он. — Тоже сметы ради?..

— Неужели же мне с ним связываться и пачкать себя? Ведь, в существе се *n'est qu'un vilain*.

— Вот что! Так сказать — *St. Antoine et ses tentations*... Что ж, не худо! *Va, mon petit, va!*.. Но мы разве хуже тебя, если для наших семейств считаем необходимым жить *avec vilains et vilaines*? Что ж! *Joue prude!* Сиди на бобах, принимайся за новый обличительный роман, живи манной небесной, будь неаккуратен перед кредиторами, верившими твоему честному слову, угощай жену черным хлебом и... главное — о чем я прошу униженно — оставь службу, в которой приходится иметь дело с *vilainami*... Твои же товарищи будут пить лафит не хуже этого...

Туз выпил новый стакан вина.

— Впрочем, может статься, — прибавил он едко, — ты манну предпочитаешь лафиту? *De gustibus non disputandum est*.

Ястребов, в свой черед, принялся истреблять тонкое, нежное, чисто бархатное вино, — вероятно, для того, чтобы доказать несправедливость предположения охмелевшего теста.

— *La position es mauvaise*, я согласен, — сказал он после небольшого молчания, — *mais que dois — je faire pour m'en tirer*.

Тесть увидел, что Ястребов уступает, не чувствуя под собою твердой почвы, и если, так сказать, еще брыкается, то для того только, чтобы отступить не слишком быстро и позорно. Удовлетворенное самолюбие в душе помирило туза с побежденным зятем, к которому он всегда был расположен и которому прочил великую будущность; но, в свой черед, и ему хотелось побудировать, поломаться, заставить себя хоть несколько попросить.

— Что делать? — с расстановкой ответил он на вопрос Ястребова... Куда нам, старикам, учить вашу братию, писак!

— Однако?

— А ты знаешь эпиграф барона Брамбеуса к его «Фантастическим путешествиям»?

— *Chaque baron a sa fantaisie*.

— Так. Ну, может статься, моя фантазия тебе не понравится?

— Понравится.

— А если так, то прежде всего нещадно, хоть до смерти пороть этого мерзавца Сунгурова, пока он не отдаст, по крайней мере, *trente pour cent* с цены покупок: *c'est ta part legale*; ему еще останется, а то не по чину берет!.. Далее: сорок лошадей должны существовать только по бумагам — и вот тебе полсотни тысяч в одну неделю... Ну, далее — плата за снятие турфов и промытый песок может быть показана, по меньшей мере, втрое... Остальное зависит от тебя...

— Приму к сведению...

— Не принять к сведению, мой милый, нужно, а действовать нужно. Иначе поступать просто бесчестно: ты и себя, и других лишаешь необходимого, а на это ты не имеешь права... и, пожалуй, скоро и возможности не будешь иметь...

Последнее замечание имело характер явной угрозы.

— Ну, ну, ладно, помиримся! — заискивающим голосом сказал Ястребов, в воображении которого мелькнули потеря места, кредиторы, запутанность положения и поруганное самолюбие.

Почтение дальше пошло совсем миролюбиво.



## БАГУЛ

Про великорусские города, когда желают их похвалить, говорят обыкновенно, что «городок — Москвы уголок». К Багулу такая льстивая кличка вовсе не подходит: слишком далек он от белокаменной, да и вообще представляет слишком мало сторон московской общественной жизни и внешности. Прежде всего он вовсе не

«дистанция огромного размера», а, напротив, щеголяет уютностью и сжатостью. Его каменные здания, выстроенные на кабинетские и казенные деньги, отзываются несколько и казенным вкусом, приведением всех частей к одному нивелирующему знаменателю. Горные инженеры, носившие прежде, при чисто гражданских занятиях, военный мундир, невольно придали и своим домам полустроевую форму, и если эта форма отдает несколько вольнодумством, то для объяснения не худо вспомнить, что провинция даже на солдат действует неблагополучно, отучая их от строгой дисциплины, тем более растлевающе она влияет на господ инженеров с их офицерскими и шляхетскими привилегиями. Местные сибирские условия даже не могли пройти бесследно, и, благодаря им, Багул выступал из ряда других микроскопических провинциальных городков. Население его с населением Москвы также не сходно: отставных тузов здесь не водится — зане, набив карманы, они переезжают в Петербург или за границу; малочисленное купечество тут не имеет заметного общественного значения; а бедное мещанство прежде находилось к аристократии города в военно-поселенческих отношениях. Необходимо заметить, что в Багуле, в противоположность другим сибирским городам, вовсе нет ссыльного элемента, так как великорусским преступникам было запрещено появляться в районе кабинетских земель. «У нас нет этой сибирской язвы», — самодовольно провозглашал, при первом удобном случае, багульский валет, забывая с одной стороны, что, единственно с помощью этой язвы, в Сибири зародилась гражданственность, а с другой, что нередко именно фигурные карты общественной колоды гангренозно действовали на организм страны...

Чем Багул мог всегда хвалиться, это бойкостью общественной жизни. Высшее общество его, образуя прочную, замкнутую корпорацию, постоянно подновляемую новыми элементами, выходящими из Горного корпуса, беспрерывно жило богато и весело. Деньги сами просились в карман и, если щедро отправлялись в магазины петербургских иностранцев, то взамен себя посылали в Багул весь комфорт западной Европы. Научное образование этого общества сдерживало безумства расточительности или, по крайней мере, придавало ему приличную внешность. Грязь хлебов не зияла в гостиных рядом с мрамором, малахитом, бронзой и золотом; богатые экипажи отличались изяществом и легкостью; кровные

рысаки соответствовали роскоши упряжи; библиотеки красовались не одними переплетами: игра велась широко, но прилично и относительно честно.

Среднее общество, состоящее из неинженеров, плелось, хотя и с натугою, за образом жизни высшего и, пользуясь крупными крохами чужой трапезы, имело свои удовольствия, менее деликатные, менее приличные и хуже обставленные, но которым иногородние гости завидовали от всей души. И тут довольство виднелось на каждом шагу, а оно заманчиво!

Низший класс... но кто, почти полвека назад, говоря об обществе, думал о так называемой меньшей братии?

Особенно бойко шевелился Багул, когда, по окончании промысловой операции, в октябре месяце, съезжались сюда управители приисков и заводов; тогда шла сдача намытого золота, дележ полученных выгод, погоня за новыми местами и командировками в Петербург. Дружба не мешала хорошему знанию арифметики; корпоративное товарищество не мешало рытью ям товарищам, а все вместе обуславливало усиленную деятельность.

Ястребов приехал в Багул в июне, застал относительную тишь; но так как город все же не оставался без людей, то время у него уходило далеко скорее, чем на Константиновке. Жена его едва успела положить начало иеремиаде о бедной неудачной жизни, переполненной, по ее словам, всевозможных лишений: так мало она видела мужа.

— Что может быть противнее моего положения! — истерично восклицала она. — Мадам Эрнос посылает по почте в Париж мыть свои носовые платки, а я должна конючить у отца по сотне рублей. Обывдович привез жене три платья по восемьсот рублей каждое, а я чуть не принуждена перешивать старые тряпки. Хорошо, что еще рара не отказывает, а не то — просто орёр!.. И разве мне приятно, когда *tes créanciers* при нашем имени дозволяют себе гримасы... *c'est agasant* и т. д.

Лука Иринархович в первые дни приводил самые почтенные возражения, даже сердился на жену, что она словно заставляет его *faire des bassesses ignobles*; но после беседы с тестем старался утешить жену обещаниями блестящего будущего и нежностями. Супруга его была женщина красивая, полная и несколько сентиментальная; поэтому последний аргумент его самозащиты имел значительный успех, хотя мирные отношения не



оставались без перерывов и самый пустяк представлял достаточный повод для начала женских арий в минорном тоне. Нужно отдать справедливость Ястребову, что, утешая жену и соглашаясь с тестем, он действовал не совсем искренно. Ему вовсе не хотелось повести службу на рекомендованных ему началах; мысль о взятке тягостно действовала на его ум, и он перебирал способ за способом, чтобы иначе выплестись из своей position mal-aise... Выиграть бы! мечтал он не раз... но особенно большой игры не предвиделось. «Теперь зима, выиграешь десять-двадцать тысяч — и баста: что ж пользы?»

Ястребов невольно помышлял и о том, что не худо сделал бы тесть, если, уже достаточно пожив на свете, отправился бы к своим прародителям. Но тесть, несмотря на свои шестьдесят пять лет, наслаждался полным здоровьем, с удовольствием попивал добрый лафит и с нетерпением ожидал генерального крестика. Ум бойкий, но поверхностный, Ястребов не строил планов по-серьезнее, не помыслил о перемене образа жизни, молил случай помочь ему, призывал к себе счастье даже ценою несчастья других людей, но красть казенные деньги не желал. В нем жила русская нравственность его времени, которая притом, несмотря на всю невысокость ее пробы, была все-таки редкою: в корпусах и ей не учили.

Тесть, однако, обманутый наружным согласием Ястребова, стал относиться к нему чисто дружески, тем более, что видел его уступчивость жене. Под влиянием довольства победителя, он за вечерним чаем спросил у зятя, не нужно ли ему презренного металла.

— Я взял с собою тысяч десять казенных, — неопределенно ответил Ястребов.

— Для Багула этого, *mon cher*, мало; вероятно, ты уже истратил их.

— Не все.

— *Si tu me les rends au mois d'octobre.*

— *Mais c'est sur.*

— Ну 15—20 тысяч одолжу...

— *Vous êtes bien bon.*

Видно было, что туз деньги приготовил заранее, потому что тотчас же принес их; да и о возврате, по всей вероятности, думал мало, так как, передав пачки, заметил небрежно:

— После перечтешь.

С полученными деньгами Ястребов в тот же вечер

отправился к Обвыдовичу, где застал человек шесть за банком.

— А, Ястребов! желанный гость! — радушно возгласил хозяин. — Что поздно?

— *Mieux vaut tard que jamais.* Я и поздно не помешаю вам — продолжайте.

— Напротив: пожалуйста помешай. Замурзуев всех обижает, бьет по десяти карт сряду.

— А сколько в банке? — спросил Ястребов, которого передернуло при виде игры.

— Тысяч восемь, — ответил Замурзуев.

Ястребов вынул наудачу карту и тихо сказал.

— Банк!

— *Evohé! tues fougoeux, mon cher!* — весело воскликнул Обвыдович.

Карта была дана в сонике. Лука Иринархович, скомкав деньги, небрежно положил их в карман. Замурзуев позеленел, попросил карандаш и клочок бумаги и написал несколько строк домой. Через десять минут ему принесли толстый портфель с деньгами. Он отсчитал сто сторублевых ассигнаций и положил их на стол.

— Еще десять тысяч! — провозгласил он, — кто хочет?

Ястребов в ту же минуту снова накрыл деньги. По третьему абцугу карту били.

— Все! — торопливо сказал он банкомету.

— Какая карта?

— Поле.

Двойка упала на сторону Луки Иринарховича, который потом сорвал у Замурзуева еще три банка по прежнему кушу.

— Везет! — радовался молоденький Анзаров.

— Везет как утопленнику, — вторил хозяин.

— Справедливая судьба вознаграждает меня, господа, за мой долгий пост, — отвечал на их любезности Ястребов: — *Une bonne fée.*

— Кому мать, кому мачеха! — угрюмо заметил Замурзуев, запирая пустой портфель.

Играть перестали, и после мастерского ужина отправились по домам. Жена Ястребова не спала.

— Ах, *Lucien*, — отозвалась она с упреком, переменяя, по обыкновению, неблагозвучное имя Луки на громкое прозвище Люция, — приехал на несколько дней — и дома не сидишь. Согласись, что для меня это вовсе не лестно...

— А это лестно? — весело перебил Ястребов, выбрасывая из всевозможных карманов пачки денег.

— Ты выиграл? Много?

— Тысяч пятьдесят.

— Ну, слава Богу, слава Богу! Вот радость-то! Милка ты мой, умница моя! А то приходилось опять у папки клянчить.

— Нет, не клянчь: тебе половина выигрыша.

Эта ночь для супругов была одною из самых веселых их совместной жизни. У них бывало денег и более пятидесяти тысяч — и очень нередко; но деньги при деньгах, без нужды, деньги к деньгам вовсе не составляют причины особенной радости, будь даже они заработаны тяжелым трудом. Заслуженными деньгами гордятся, но им не радуются; они не производят одуряющего впечатления, ради их с ума не сходят. Дело другое — неожиданные деньги, ни за что ни про что свалившиеся с неба в минуту большей или меньшей крайности, когда, ради безусловной или условной нужды, приходится человеку унижаться в собственных глазах и поступать нечестно в отношении другого человека, вся вина которого состоит в благородной доверчивости... Эти деньги не лучше, но веселее: кровь начинает сильнее обращаться, воскресают убитые надежды, являются забытые или отброшенные потребности, воображение прихотничает и иногда доводит до галлюцинаций, открывающих двери в сумасшедший дом; эффект неожиданной радости, как и эффект глубокого горя, действует на нервный организм не хуже приема стрихнина.

Муж и жена, действительно, заснули под роем самых обольстительных грез. Madame Ястребовой, утомленной страстью, изноенной нею, снилось, что ее Люций выиграл денег, более чем у рара, даже больше чем у самого начальника всех кабинетских промыслов, и она не только платки, но даже ботинки свои посылает чистить в Париж по почте. Их богатый дом стал еще богаче; он тот же, да не тот: гостиная уютнее, но прихотливее; зала бьет странным светом; мебель в ней легче пуху, и самая-то зала стала какою-то нескончаемо длинною... черт знает в каком серебристом глазетном тумане пропадает ее входная дверь; черт знает почему вдруг появился в ней миниатюрный стол с зеленым сукном.... Да на нем карты и много, много денег.

Лука Ирinarхович не спал дольше жены, так как испытанное им физическое волнение было сильнее, да и задачи его мышления были поглубже и практичнее. Он прежде всего занялся умственными расчетами — какие дыры своего бюджета может он заткнуть выигранными деньгами. Сначала он предполагал заткнуть их полными кушами; но потом, когда припомнил мало-помалу все нужды, все долги и все желания, то последних оказалось так много, что он значительно пооборвал и пообщипал свои затычки... «Тестю отдать деньги совершенно нельзя, — размышлял Ястребов, — но ему необходимо сделать какой-нибудь подарок, хоть в пятьсот рублей: он подарки любит и очень ими дорожит... Фалеву заплатить весь долг невозможно: около тридцати тысяч придется отдать... разве внести пока двадцать... десять... пять, наконец? Но опять коляску необходимо выписать новую и т. д.»

Долго думал Ястребов о способе распределения выигранных денег, но незаметно мысль его ушла в сторону от этого важного предмета и устремилась на тестя и на службу.

«Если бы выиграть еще тысяч восемьдесят, — начал он мечтать, — (а отчего не выиграть? Счастье, кажется, опять ко мне вернулось, игрою же пользоваться я умею), то какой нос я приставил бы своему нравоучающему старикашке! Право — во всю губернаторскую улицу. От Сунгурова (наказать-то его я накажу!) ни копейки, никому ничего, а сменить меня нет права, потому что все в порядке, все по смете, что хочешь смотри, кто хочешь считай... Работы даже усилил бы...»

Тут он заснул — тревожно, с перерывами. Можно было заметить по его жестам и улыбкам, что и во сне он наставляет нос тестю и усиленно моет золото в Константиновке. В самом деле, ему виделось, что он за удачные намывки, за познания и бескорыстие сделан владыкой всего горного ведомства, под его руководством, по его инструкциям, которые он подписывает необыкновенно-замысловатым образом, на Алтае, на Перче кипит деятельность, сооружаются поисковые партии к Телецкому озеру и к Белухе; в Багул свозятся массы золота и серебра; рабочий сыт, доволен и поет веселые песни, в которых упоминается имя Луки Ястребова; взяточников гонит он вон по шеям, без малейших церемоний; с улыбкою выпроваживает из службы тестя,

предлагая ему какое-то почетное, но безвредное назначение; героя своего романа за подлоги и продажу воровского золота он сажает в тюрьму. Нет, не только Алтай, но весь мир благоденствует, благодаря поручику (и на большом посту он как-то остался поручиком) Ястребову, который трудится, распоряжается, наказует злых и награждает добродетельных. Он не понимает только — почему в присутствии, где он председательствует, вместо зеркала лежат четыре тома его романа, а перед ним в полной форме стоит угрюмый Замурзуев с колодой карт в руках и с пустым портфелем?..

Впрочем ночь на ночь не приходится. В следующий вечер Ястребов, подмываемый вчерашнею удачею, ни с кем почти не расплатившись, снова отправился в гости к Анзарову, веселый и нетерпеливый. Игра началась скоро и шла ровно, тем более, что Лука Иринархович старался рассчитывать ставки, играть разумно, по раз принятой системе. Но к рассвету судьба улыбнулась Замурзуеву: он не только отыграл проигрыш, но еще разгорячившийся Ястребов на честное слово остался ему должен с лишком семьдесят тысяч рублей: куш решительно не по средствам.

Дорогою к дому Ястребов решил застрелиться: но в раздумываньи дождался белого дня и принял какое-то не приходившее ранее намерение.

— Правда ли, что ты так много проиграл? — сурово спросил его на другой день тесть, уже как-то разузнавший результат вчерашней игры.

— *Qui ne risque rien — ne gagne rien.*

— Но ты уж слишком рискуешь... как рассчитывать-ся будешь?..

— В октябре увидите, а теперь я еду на «промысел»! Слово «промысел» Ястребов произнес с какою-то злою и непонятною ирониею.

— С Богом... когда?

— Сегодня вечером.

— Не забудь же *mes conseils*.

— Не забуду.

— Сунгурова тоже не жалея.

— Не беспокойтесь: как бы нам не пришлось его жалеть...

— *Пустяки, топ шер:* собаке — собачья смерть.



## УЧЕНЬЕ ВПРОК

В Константиновке работы шли заведенным порядком, разве немного ленивее. Часу в пятом утра нарядчики, по раскомандировке, составленной Ястребовым и передаваемой Сунгуровым, указывали замер явившимся на звонок рабочим. Тотчас же начиналось кайленьё пласта, складка песков в тачки и отвозка их к бутарям.

— Ишь, пропастина, чтоб ее язвило! — восклицал малосильный, но рьяный на работу Перебеднев, стараясь откайлить увесистую груду замясниковавшего пласта.

— А чего сразу прешь во-поносскольку! — философски ответил ему геркулесообразный Фролов. — Удивишь!

— Урка не кончишь...

— Невидадь — плевать! С бабами потом валандаться что ли... затянись-ка!

Фролов покровительственно подал находившуюся у него в руках носогрейку Перебедневу, прозванному Макаркою, хотя поп крестил его Егором. Макарка бросил кайлить и принялся за трубочку.

— Я, братец ты мой, вчера больше рубля выфартил, — так купил табаку, — хвастливо разъяснил Фролов.

— Что говорить! — тебе фарт нонече, — уныло ответил Перебеднев.

— Фарт.

— Ты, небось, и золоти́ну сбурил?

— По-твоему, держать, что ли?

— А я играть кинул; все сняли.

— На то ты и есть Макар! Без игры что? В скопцы проситься.

— Эй вы, черти, работайте! — крикнул на беседовавших проходивший унтер-штейгер.

— Что, Василий Иванович, про нашего не слышно чего? — спросил его заискивающим голосом Фролов.

Ответа не последовало.

— Тоже морду в небо тянет, стерва этакой...

Кайленье возобновилось, Фролов сделал пять-шесть могучих ударов ломом, и глыба разом осела.

— Сторонись! Придавит! — молодежато крикнул он.

В восемь часов раздавался колокольчик, и рабочие отправлялись к кипятку; кому по средствам приходился кирпичный чай, тот добывал на кухне горячую воду, накрашивал в нее кирпич, сыпал туда достаточную дозу соли, а при возможности и перцу, наливал эту бурду в деревянную чашечку и пил ее с черным хлебом и большим аппетитом. Проюрдонившиеся, т. е. проигравшиеся или не имевшие денег, чаю не пили. Скоро заработать что-нибудь на Константиновке даже самую усиленную деятельность было почти невозможно, так как прииск еще не обжился, не завел баб с бабоводными делами и соединенными с ними доходами; утаенные золотины не продавались, так как спиртоносы не обрели пока дороги к Константиновке; Сунгуров же, продававший чай, табак и прочие припасы, в долг не верил. Вследствие этого, проюрдонившиеся довольствовались простой ключевой водой и пользовались только роздыхом, после которого работа возобновлялась и тянулась вплоть до обеда, до половины двенадцатого. Тогда работали по преимуществу усердно: могучими руками отрывались громадные куски земли; тачки живо перебегали от забоя к бутарам; рубахи на рабочих были мокры — хоть выжми.

Обед в скромные дни состоял из щей с фунтом мяса на каждого; по праздникам и четвергам бывала каша; в дни постные горох и капуста представляли главные блюда. Собственно, рабочим всегда полагался определенный законом паек, и каждый мог пользоваться по произволу и употребить, куда заблагорассудится; но на новых приисках артель в отношении пищи является положительною необходимостью, так как в противном случае проюрдонившиеся остались бы, наверное, без

всякой пищи. Иной азартный игрок спускал не только платье и «подмогу», но и муку и говядину, после чего приходилось довольствоваться трапезой св. Антония. На Константиновке и существовал артельный котел, спасавший если не всех, то, по крайней мере, большинство от голодной смерти.

— Сообча, братцы, всегда лучше, — говорил как-то после обеда Митька Шустрый, или Юркой. — Одному в нашем деле пропасти нужно. Послали, братцы, меня одна к Змей-горе; дали паек на руки — весь как след тому быть. Что ж, братцы? Прожрал ли я, али другое что, — токмо с полмесяца пропитание мое имел я милостыню... вот что!

— Еще бы! — возразил ему кто-то, — жрать ты небось ловок, с тобой у котла ждать нечего.

— Ишь ты, леший! Жалость забрала! Тьфу!

— Что жалость? Известно, что после нашего брата, юрких, котлы мытья не просят.

— А после вас, свиней, куда подумаешь, смыть нужно: не равно, язви вас, корова угрузнет там...

— Нет, не то, братцы, — вмешалось в разговор новое лицо, — а вот что: без артели пошли бы мы все по Гаврюшкиной дороге.

— Это правда!

— Правда, правда! — поддержали все присутствующие.

Гаврюшко был один из проюрдонившихся. Проигравшись окончательно и не имея добрых товарищей, он без пищи отощал до крайности, так что работа валилась из рук; его отодрали и отправили в больницу. Человеку есть хотелось, а остроумный фельдшер его лечить начал. Он промаялся с месяц и зачах, как бессмысленное животное. На рабочих Константиновки, которым причина смерти была ясна, этот случай подействовал наставительно, и они нередко вспоминали Гаврюшку.

Обеденный роздых продолжался часа полтора и даже два. Почти все спали в это время. Потом спешили дорабатывать урки, т. е. положенные каждому уроки. Кто кончал раньше — уходил или помогал другим, по условию или просто по дружбе. Помогать эта называлась калтаем.

— Вы еще свое работаете? — спрашивали одни рабочие других.

— Нет, калтаим, братцы!

— Рано управились...



Макарка всегда опаздывал; тяжело, бывало, бедному; но Фролов помогал ему, как мог, — он его словно любил, жалел и поэтому покровительствовал; однако и его терпение нередко истощалось.

— Эх, кумаха растряси тебя с твоей черною немочью! — восклицал он.

В шесть часов полагался вечерний кипяток, а часу в восьмом работа прекращалась, и все отправлялись по домам ужинать, спать или играть. Азартные игроки просиживали до самой зари, и на следующий день выходили на работу измученные, бессильные, но, в существе, крайне довольные убитым временем. Кому был фарт, тот, не имея сил работать сам, нанимал других или платил дань нарядчикам и штейгерам, которые прикрывали бездеятельность уважительными причинами или давали назначение, не требующее сильного физического труда. Зато несчастливцы поплачивались своими спинами, а подчас и жизнью.

Временный командир прииска, Сунгуров, был, что называется, мужиком не промах. Ему считалось около сорока шести лет; он приземист, здоров, как вол, белокур и не особенно красив, так что даже густые, длинные, полурыжие бакенбарды его несколько не скрашивали неприятности лица. Грамотность его ограничивалась умением записать расход и вести счет... Нельзя сказать, что он стал знаменит особенными заслугами; но для холостого начальства его полезность всегда была несомненна, так как раньше он мог хоть из земли достать для начальства хорошенькую девочку, потом, в угоду другим, он женился на красивой, высокой, несколько разжиревшей любовнице одного из сильных мира сего, наконец, вырастив миловидную дочку Оленьку, и ее был не прочь предложить «значительному человеку», хотя незначительного человека за малейшее поползновение в этом отношении поколотил бы без всякого милосердия и наделал бы ему всевозможных гадостей.

— Ведь я отец, а она мне дочь — так я ее блюсти должен, — говорил Сунгуров совершенно серьезно, забывая, вероятно, что если Оля и не ночевала иногда дома, то именно по его родительскому приказанию.

Лакействуя перед начальством и постоянно около него тершись, Сунгуров отлично знал, где и чем можно воспользоваться, живя относительно недурно, наряжая жену и дочь, он еще до Константиновки сколотил тысяч десять рублей; благодаря же неопытности Ястребова

он вдруг захватил до двадцати и, конечно, приобрел бы еще более, если бы понял в самом начале, что Ястребов — такая дурья голова, какую оказался впоследствии в глазах своего подчиненного.

— Ну, таких не видал еще! — насмешливо подумал он, представляя Ястребову счета своих покупок.

Богатство не заставило, однако, бросить приобретенной им привычки; он по-прежнему накопил в городе разного рода припасы, которые продавал рабочим, несколько не стесняясь в ценах, потому особенно, что в данном случае сознавал силу своей монополии. Только покучивать исподтишка начал он в размерах достаточно грандиозных и — посети его Ястребов ясной ночью — то не раз застал бы его крайне «веселеньким» или просто «не вяжущим лыка», впрочем, не задорным и в самом кутеже. Оставшись хозяином промысла, Сунгуров пил не только ночью, но и днем.

— Я теперь, значит, глава! — самодовольно восклицал он. — Само начальство!

А Ястребов катил уже к Константиновке, мрачный, злой, постоянно обдумывающий свое тяжелое положение. Иногда, полуохваченный дремотою, он словно бредил, повторяя слова объяснения с тестем. *Qui ne risque rien — ne gagne rien* — повторял он несколько раз совершенно машинально... «Как рисковать? — спрашивал он себя. — Много, много нужно!.. сто тысяч из Сунгурова не выбьешь... А впрочем, смелость города берет — *qui ne risque rien — ne gagne rien!*..»

Вот показалась приисковая постройка, вот разрез. Рабочие, слышав колокольчики и бубенцы, принялись за кайла и лопаты. Бойкие кони живо поднесли Ястребова к дому, где на пороге встретил его подкутивший Сунгуров. Едва подчиненный успел поприветствовать своего начальника, как уже получил несколько полновесных пощечин.

— А bestia, пьян! — орал Ястребов. — Так-то ты смотришь за другими! Розог!

— Я, ваше высокобродие, урядник, — едва возразил очумевший Сунгуров.

— Ты урядник? Вот что!... Грубить? Каторжным ты будешь, мерзавец!.. Запереть его! — приказал Ястребов подвернувшемуся рабочему. — Караулить его и ничего не давать, даже воды!

Сунгуров, своим лакейством сделанный подлым трусом и не ожидавший бури, совершенно растерялся

под ударом грянувшей грозы. Куском дерева, без малейшей мысли, поллелся он за рабочим, над которым часом раньше начальнически издевался. Как сноп повалился он в темном чулане, куда его заперли. В чем состояла провинность — он не понимал. Выпил? Но обыкновенно на это слишком строго не смотрят, особенно если выпьет урядник. Мало-помалу придя в себя, он начал приискивать другие причины. «Должно, все тесть сказал и пояснил, — подумал Сунгуров, наконец, и сознался, что дело в таком случае крайне плохо: придется все отдать — иначе со света сгноят...»

Ястребов между тем пошел осматривать работы и тут же наткнулся на бедного Макарку, которого всегда жалел и, по его малосилию, хотел перевести в разряд конюхов или прислуги. Перебеднев, не заметив вдруг появившегося начальника, копался в песке, выскивая блеснувшую крупную золотинку: такие вещицы обыкновенно прикарманиваются в видах возможности продажи, если не в настоящем, то, по крайней мере, в будущем. Не увидит ее закайлщик, то спустится на хвосты промывальщик: только в редких случаях, при самом бдительном надзоре, она ускользает от рабочих.

— Ты, мерзавец, что копаешься? — напустился Ястребов. — Золото воровать?

Лицо Макарки окрасилось кровью, ручьем полившеюся под ударами Ястребова, который мгновенно при виде этой хлынувшей крови опомнился: ему самому стала омерзительна картина допущенного им произвола; потупив глаза, он повернул к занимаемому им домику.

— Э, братцы, плохо! Наш-то по скулам ездить начал, — зашептали между собой рабочие. — Макарку истребовали.

— На то он и есть Макара! — вздумал кто-то подтрунить, но окружающие взглянули на него недружелюбно — и он поскорее хватился за лопату.

Ястребов, едва добравшись до своего кабинета, заперся на крючок и сел перед письменным столом, подерживая обеими руками голову, которая склонилась под тяжелым гнетом печальных мыслей. Бог ведает, как далеко бродили эти мысли; трудно было прочесть на чисто омертвевшем лице Ястребова — продумывал ли он настоящее, вспоминал ли блестящее прошлое, или заботило его будущее. Только изредка надвигались на лоб его глубокие морщины и около губ образовалась кислая, усталая гримаса. Наконец, Лука Иринархович не

выдержал и слезы градом полились по бледным щекам его.

— Мерзавец я, полный, беспощадный мерзавец, — повел он громкую речь самому себе: — дожил, добрался таки до всякого унижения! Кругом в долгу... товарищи чуть не пальцами показывают... перед тестем подличаю... людей бью! Эх, даже настолько душевной силенки нет, чтобы покончить с собою... или покончить?

Он вынул из письменного стола великолепный, достаточно увесистый старинный турецкий пистолет, продул его, тщательно осмотрел кремль и приложил дуло ко лбу.

Вдруг раздался колокольчик, звавший рабочих на кипяток. Ястребову, по привычке, невольно, даже под дулом пистолета, пришла мысль о раскомандировке работ на будущий день. Он было кликнул Сунгурова, но вспомнил, что тот арестован по его приказанию. «Разве выпустить его? — подумал Ястребов. — Но деньги... деньги!»

Тем не менее Сунгуров был выпущен, и, напуганный, трясущийся, явился он к своему начальнику.

— Что, вытрезвился? — угрюмо спросил его Ястребов.

Сунгуров упал на колени.

— Виноват-с! — простонал он.

— Разве ты в пьянстве только виноват? Где деньги от закупок? Что молчишь?

— Виноват-с! — повторил Сунгуров.

— Ты, может, думаешь отделаться 20—30 тысячами, что украл? Нет, шутишь! Отдашь сто.

— Сто? — изумленно спросил урядник, приподнимаясь с колен. — Сто? Ста нет и не было.

— Чтобы были! Понимаешь — чтоб были!

— Но, ваше...

— Никаких **но** я слышать не хочу! Понимаешь — не хочу! — с отчаянием в душе повторил Ястребов, перед глазами которого то носились кучи денег, то дуло пистолета, брошенного перед приходом Сунгурова на стол.

Сунгуров начал оживать, приходить в себя.

— Можно и сто достать, — начал он, совсем оправившись, — можно достать.

Пришла минута смутиться Ястребову.

— Разве что Константиновку продашь? — спросил он неловко.

— Три-четыре пудишка.

— Тебе, видно, дело знакомое...

— Знакомое, — нагло ответил Сунгуров, который чувствовал, что под ним почва становится гранитною, так как он хорошо понимал, что без нужды, крайней, вопиющей нужды, начальство не завело бы такого щекотливого разговора.

— Кому продашь?

— Есть человек в Ковальске: купец Зубов.

Ястребов молчал около десяти минут; потом взял пистолет и нацелил им в грудь Сунгурову, у которого по коже пошли мурашки и холодные иглы.

— Я тебя, — начал Ястребов медленно, процеживая каждое слово, — убью как собаку, если в течение полу-месяца ты не достанешь мне сто тысяч и проронишь кому бы то ни было единое слово... слышишь?

— Слышу-с...

— Марш! Через две недели жду тебя.

Сунгуров вылетел стрелою. На Ястребова словно напал столбняк: он стоял на прежнем месте с тем же угрожающим видом.

— Вор! — произнес он наконец. — Лука Ястребов — вор!.. Ну, что же? Игрок и вор — разве это не то же самое?

---

В августе вернувшийся с присков горный ревизор сделал об Ястребове блистательнейший отзыв; по его выражению, Ястребов оказался не только *un homme comme il faut, spirituel et intelligent*, но и знаток своего дела, *mâitre*.

Тесть весело осклабился и чувствительно пожал руку ревизору.

В октябре в Багул явился сам Ястребов с отчетами; все долги им были уплачены до копейки; даже тестю он предложил обратно занятую в июне сумму денег.

— *Fi donc*, — возразил тесть, *c'est ne sont que des bagatelles*.

— *Tiens!* — процедил Ястребов.

Золото с Константиновки поступило — правда, не десять пудов, как ожидали, но все же 6 пудов, 2 фунта, 28 золотников и 14 доль — на 28 золотников и 19 доль больше сметного назначения.

Начальство представило Ястребова к награде. Сунгуров получил классный чин и в новом звании пропьянствовал безобразнейшим образом около двух недель, после которых к нему призвали доктора.

---

Первый шаг был не только сделан, но и сделан удачно.



## ГДЕ НАЙДЕШЬ, ТАМ И ПОТЕРЯЕШЬ

Переченко, передав казенные деньги Зубову и возвратившись домой, принялся за работу, которая многим покажется странною и непонятною, но которая некогда, при плохих линючих ассигнациях тридцатых годов, была в большом ходу. Он вынул из своего сундука кипу тонкой цветной бумаги и принялся усердно резать ее по формату кредитных билетов... Пачки листков росли и росли, и когда их накопилась большая груда, то Василий Максимович смочил их водою, потом каждый лист переложил настоящею ассигнациею и все вместе перевязал крепко-накрепко широким ремнем. Печка в его комнате была давно истоплена и давала от себя только легкий жар. Переченко отгреб в ней в сторону пепел и уголь и положил на их место свою затянутую кипу.

На следующее утро, проснувшись, по обыкновению, чуть не до света, едва взлезши в бабьи башмаки, заме-

пьявшие ему туфли, Василий Максимович подошел к совершенно остывшей печи и вынул оттуда положенную накануне связку. Она была суха. Расстегнув ремень, Переченко начал осторожно отделять листки бумаги от ассигнаций; последние несколько побледнели, зато на чистых прежде листах цветной бумаги оказались рисунки бывших между ними кредитных билетов. Эту кипу Переченко снес в казначейство и положил на место взятых денег; мало того, он два дня сряду повторял ту же операцию...

Зачем? Неужели Василий Максимович думал выдавать эти им сфабрикованные бумажки за настоящие?..

Несмотря на видимую нелепость своего поступка, он действовал вполне основательно и расчетливо. Дело в том, что в казначействе очень нередко накапливалось сбора до полумиллиона; поэтому при месячных ревизиях свидетельствующие сумму, сосчитывая рублевые бумажки, имели немало работы, и каждый из них, чтобы ускорить операцию, проверял не все пачки, а брал от казначея только по соразмерности с другими. При наступившей ревизии Переченко воспользовался этим спехом: чиновникам он подложил огромные пачки мелких ассигнаций, а сам принялся считать те, где вместо крупных, заготовленных государственною экспедициею, лежали простые бумажки его собственного изготовления. Две ревизии прошли благополучно, а этого только и желал Василий Максимович, так как по возвращении Зубова из Ирбита он все привел в порядок, а сам от операции с воровским золотом, за очисткою всех расходов, получил чистой прибыли тридцать пять тысяч...

Прошло два года. Переченко, алчный по природе, только и бредил все время таким легким, хотя и не безопасным средством наживы. Очень нередко снились ему матовые самородки золота, и он (не наяву, впрочем, а тоже во сне!) строил предложения о самоличном походе за добычею этих заманчивых кусочков, причем ему вовсе не было необходимости делить барыши с Зубовым. Но, проснувшись и отогнав от себя заманчивый рой соблазнительных грез, он расчетливо предпочитал, хотя бы и с меньшею пользою, вести дело через другое лицо, так как в этом случае деньги были обеспечены закладной, а спина не подвергалась опасности. С большим богатством Василий Максимович стал скупее и по-прежнему не принимал никого, даже Зубова... В душе же его могуче разгорелось нетерпение совершить новую

операцию. Но два года сряду Зубов, при встречах в казначействе, объявлял ему, что пока им нужно сидеть скромно, так как, вследствие сильного накопления в прежние годы золота в Ирбите и на Макарье, правительство послало тайного агента выследить эту подспудную коммерцию, и что поэтому промысловое начальство съезжилось, ведет ухо востро. Переченко принимал эти сведения с величайшею досадою: непредвиденное препятствие только подстрекало его, и распоряжение правительства он счел чуть не хищническим поползновением на его карман. Но делать было нечего: приходилось ждать...

Несколько раз, однако, Переченко от нетерпения чувствовал себя просто больным... Отпустив от себя Соню и затушив свечу, ложился он тогда ничком на свою жесткую кровать и, переворачиваясь с боку на бок, переворачивал в памяти своей все обстоятельства прошлой жизни, которая, по его мнению, была бы далеко радужнее, владей он ранее теперешним секретом разбогатеть. В таком состоянии, благодаря лихорадочному бреду, перед его глазами проходило туманными пятнами его невеселое существование... Вот он видит себя некрасивым, неповоротливым мальчуганом, таскающим в избу своего отца, вечно пьяного поселенца, тяжелые вязанки дров; «оберемок» так тяжел, что под ним спина трещит, а бедный мальчуган тащит его. «Были бы деньги тогда — небось не таскал бы!» — заключал Василий Максимович по поводу этой картины, мрачные краски которой усиливались еще воспоминанием голода, нередко испытанного в те дни...

Вот, позже, Переченко видит себя слугою, лакеем у начальника рудника. Господин и начальник — простой офицер, бурбон, добряк, обремененный огромным семейством, прокармливаемым на счет каторжных. Майор по чину, он обращается со всеми подчиненными как добродушный, с подслеповатыми глазами, унтер-офицер. Если Васька не угождает ему чем-нибудь, то он собственно ручно берет мальчишку за «волость», т. е. за щетинистые волосы, и незлобно тычет его в вещь, которая оказалась не у места или плохо сделана. Васька некогда находил подобное обращение законным и необходимым, но теперь ковальский казначей умозаключает иначе: «Были бы деньги тогда, рожею грязь не чистил бы», — говорит он сам себе... Да, деньги, деньги!

Вот Васька мало-помалу учащает в рудниковую



контору: там у него приятель — старший писарь. Ваське ужасно нравится красивый бисер писарского почерка. Исполнительно начинает он присматриваться к писанному и печатному, и то, что прежде казалось ему недоступною наукою, становится яснее и оказывается проще: он уразумевает, что слово «ведомость» выводится иначе, чем слово «список»: После нескольких объяснений своего ученого приятеля Васька начинает копировать свое имя «Васька», от него переходит к слову «вакса», потом «вязка», потом «ласка», «сказка» и т. д... Были бы деньги тогда, — снова думает Василий Максимович, — разве столько я знал! Ох, деньги!..

Года за три Васька выучился читать и писать; почерк у него был точь в точь словно у писаря... Особенно легко дался Ваське счет: всего десять знаков, а что можно говорить ими! Расхрабрился как-то молодой самоучка и подал барину целую ведомость о расходах по дому, составленную с претензией на бухгалтерию и переписанную с кудрявыми росчерками. Майор на аршин раскрыл глаза, узнав про грамотность из милости взятого лакея; он почувствовал к последнему словно почтение какое, и прежний Васька обратился в Василия, что очень приставало к фигуре, пожалованной новою кличкой: несмотря на двадцать лет, Василий казался вполне сложившимся, установившимся человеком серьезного нрава...

Вот видит Переченко, как умер старший писарь; на его место начальник определяет Василия, теперь называемого, по преимуществу, Максимычем. Целых двенадцать лет потом проводит последний в конторе, составляя ведомости, списки, рапортчики, отношения и представления; громадный механический труд поглощает почти все время, и Максимыч в науке дальше не двигается; зато, тридцати двух лет, он получает чин коллежского регистратора, становится, так сказать, человеком благородным... Мало того, за время писарства Максимыч сколачивает себе небольшие деньжонки, которые скапливал, скрадывал по грошам. С замиранием сердца вспоминает ковальский казначей о первой сотне рублей, защитой им когда-то в нагрудник... Неказисты были ассигнации того времени, но и они были деньгами... а в деньгах вся сила!

Вот в рудник привозят расстригу-священника; преступление, им сделанное, велико и карается сильно; но не мешает умному старику окружить себя в скором вре-

мении полным уважением... Его семья, поселившаяся около рудника, довольно значительна: но, как только подросли сыновья, то, не лишённые прав, они сейчас же разбрелись в разные стороны и, благодаря образованию, данному отцом, поступив на службу, получили должности в сибирских присутственных местах; а две дочери, едва достигнув семнадцати лет, вышли замуж... Одна из них досталась на долю Василия Максимовича... Вот он семьянин... —

Но при этой картине мысли ковальского казначея путались, словно он дотрагивался до слишком большого места... целая вереница самых безобразных галлюцинаций проходила перед его глазами; представлявшиеся образы были ему ненавистны. Однако и это мучительное состояние давало в результате одну только очень знакомую мысль: «Были бы деньги — не то вышло бы!» И жаждал этих денег Василий Максимович, Бога молил он о них, инородцев обирал ради них и с Зубовым в сделку вошел, чтобы нахватать их побольше. Для его жажды не существовало границ; он не задавал себе вопроса — на какой цифре можно остановиться? Ему хотелось быть богатым бесчисленно; он, не задумавшись, собрал бы к себе сокровища всего мира... для чего? — Он сам не знал.

Поэтому как оживился Переченко, когда за год до нахождения Сидоровым ребенка в проруби, т. е. в 1838 году, Зубов, заявившись к нему, повел, наконец, желанную речь о том, что время работы пришло. Василий Максимович был не прочь даже расцеловаться со своим участником. Но так как нет добра без худа, то веселье Переченко значительно уменьшилось, когда Зубов заявил о большой тяжести условий покупки золота: оказалось, что золотник дешевле девяти с полтиною не отдадут и что требуют покупки большого количества песку враз, в одни руки.

— Сколько же, сколько? — с угрюмым нетерпением спросил Переченко.

— Семь пудов, а то и больше: что с ними, с грабителями, с анафемами, сделаешь?

Вести эти, в существе, очень недурные, были неприятны для Василия Максимовича, так как он сжился, свыкся с мыслью о постоянном получении тех же барышей, что достались ему от первой операции. Сорок тысяч за пуд золота — цена не огромная, но, соединяясь с риском, она не представляла столько заманчивости и

привлекательности, сколько желал алчный покупщик ворованного золота: и барыша было далеко меньше, и слишком большой капитал требовался на операцию: до трехсот тысяч... Замечания свои Переченко передал Зубову.

— Что же-с! Ведь все сто тысяч пользы будет! — с жаром возразил последний.— Это, Василий Максимыч, не мутовку облизать... Курочка по зернышку клюет — все сыта бывает. Я своих семьдесят тысяч наличными дам — ну и буду в четвертой части... Вам, значит, сколько чистоганом шлепанется? Бурун!

На лице Переченко отразилась внутренняя борьба.

— Однако мне, — сказал он после продолжительного молчания, придется двести тысяч дать, а закладная только во сто во сорок... Чем же остальное обеспечить?

— Вексельков возьмите, все как след, с прибылью... Я, Василий Максимыч, не на прежней линии стою... самому расчет... притом сам знаю — деньги казенные: шутить нельзя... Они, сказано, в воде не тонут, в огне не горят... Да что, Василий Максимыч, чтоб вам в покое быть, я лучше колено выдумал.

— Ну?

— Векселя возьмите векселями, а напишу я вам еще письмо такое, что деньги беру на скуп ворованного золота: коли деньги не отдам — вам гибнуть, да и меня-то по шерсти гладить не станут...

Переченко призадумался.

— Сегодня не решу, завтра! — процедил он.

— Что завтра! — торопливо засеменял Зубов, знавший, что нужно ковать железо, пока оно горячо.. Коли, Василий Максимыч, желания вашего нет, так хвост кобыле шить нечего: я другого товарища сыскал...

— Кого-с? — с боязливым недоверием спросил Переченко.

— На примете есть; хоть хлопуша денежный...

Прямо в сердце кольнул Зубов Василия Максимовича; что последний согласился бы на следующий день дать деньги — было трудно сомневаться; но, когда услышал он, что есть возможность обойти его, без него извернуться, когда он вообразил, что другой «товарищ» загребет в карман богатство, о котором он мечтал уже два года, то мигом порешил он, что медлить и колебаться нечего.

— А я, видно, худ стал? — сказал он дружески.

Банкротчина ты этакая, гривенник нетертый! Пусть по-твоему: векселя, письмо и закладная...

— На матушку же нашу Софью Васильевну? — спросил Зубов, наивничая.

— Не на черта же рогатого, прости Господи!

На следующий день Зубов опять получил деньги и укатил из Ковальска.

— Вот шайтан этакой! — говорили про него ковальские власти, — «протобестию» нашего другой раз облапошивает... Камлать, что ли, умеет он, чтоб его треснуло!

— А у того-то деньги!

— Да, было бы детишкам на молочишко...

Василий Максимыч между тем по-прежнему наготовил цветных бумажек и спокойно ожидал богатства, обещанного из Ирбита; но не прошло и двух недель, как он получил письмо; по почерку оказалось, что отправлено оно советником отделения казначейства и писано очень спешно; а в нем заключались три строки:

«Губернатору прислан донос, что казенные деньги даны какому-то купцу. Назначено внезапное свидетельство».



## ПРОЦЕНТ

Откупной поверенный и бывший претендент Сони, Яков Аристархович Хлютиков, имел от роду 28 лет. Высокий, полный, с длинными каштановыми усами, сливавшимися с бакенбардами, он представлял собою тип уездного франта — пленителя дамских сердец. Без ма-

лейшего образования и без большого ума, он говорил очень недурно, плавно и игриво, так как легко схватывал нужные фразы, запоминал их, а при случае щеголял ими. Одевался он с изысканностью, причем эту изысканность видел в необыкновенной пестроте костюма; любил хорошо выпить и поесть, причем вино признавал хорошим, когда оно было выписное, а блюда вкусными, когда они не имели сибирской клички.

Родился Яков Аристархович в России, в Боровичском уезде, но потом мальчиком, лет семнадцати, побрался в Сибирь, к своему дяде, который, попавши в качестве офени за Урал, разбогател там и вел большие дела чаем. Несколько раз он был посылаем своим родичем в Кяхту, а оттуда в Москву. В белокаменной он как-то с рижской немкой, не знавшей слова по-русски, зажился там, спустил все присланные с ним чай и вырученные за них деньги и почти пешком, в виде блудного сына, возвратился домой. Свою провинность он не считал особенно великой, так как подобные обстоятельства бывали и с другими; но дядя взглянул на дело иначе и запретил племяннику хотя когда-нибудь показываться к нему на порог. Вследствие этого около года Хлютиков был почти что в нищенском состоянии и едва не спился с кругу в самых грязных кабаках... но то, что погубило в Москве, вывезло в Сибири. Совершенно случайно, в приходской церкви, на клиросе которой Яков Аристархович подтягивал иногда дьячку своим сильным тенором, увидела его жена советника палаты, заведывавшего питейными делами. После этой встречи Хлютиков экипировался, защеголял и получил место при откупе. Тут он словно попал в свою сферу, словно нашел работу по душе: сделки с чиновниками, обсчетывание рабочих, преследование кормчества мужиков — все это так и горело в его руках; заведывавший откупом признал за это руки Хлютикова «золотыми». Был, однако, у Якова Аристарховича порок, который не то чтобы ронял его в глазах хозяев, но который заставлял последних побаиваться службы владетеля «золотых лапочек»; у него, по его выражению, где-то подслушанному, существовали «наклонности к изящному и прекрасному»... Так как грех да беда на кого не живет, то не одни только хорошенькие горничные и мелкие чиновницы со смазливymi личиками возбуждали искательство Хлютикова, но даже жены местных тузов иногда не без изумления видели откупного поверенного, посылавшего им

томный или страстный взгляд. Хозяева порешили, что можно и им таким образом попасть в историю, возбудить нежеланную и невыгодную злобу, неповинно обрести сильных врагов, и поэтому предложили Хлютикову: буде он пожелает оставаться у них — перейти поверенным в Ковальск, где откупные дела были не малы, а жен у начальников немного. Советница в это время умерла, делать было нечего — и Яков Аристархович принял новое место. В Ковальске он скучал, томился и изнывал и, за неимением занятия по сердцу, набивал свой карман так, что в три или четыре года мог считать себя человеком вполне обеспеченным. Однако и тут его «наклонности к изящному и прекрасному» не уменьшились, а только переменяли направление: он начал подумывать о женитьбе и возжаждал всей душой жену-«аристократку», которая отличалась бы и красотой, и манерами. Вследствие-то этого он и заслал сватов к Василию Максимовичу, так как уединенная жизнь Сони, ее действительно выдающаяся красота, ее постоянное чтение книг (о чем было ведомо — ибо земля слухом полнится) заставили Хлютикова предположить, что в ней осуществляется его идеал жены. Ответ Василия Максимыча показал тщету этой мечты. Неожиданный отказ возбудил в Якове Аристарховиче досаду, взволновал желчь, увеличил хандру, но так как на переменчивость Переченко было невозможно рассчитывать, то, поехавши в Томск, Хлютиков женился на первой подсунутой ему невесте. Брак этот не только не принес ему ожидаемого счастья, но еще поставил его в положение странное и крайне двусмысленное: жена не принесла ему приданого и — хотя была, как говорится, кровь с молоком, статна и дородна — не могла похвалиться даже простою миловидностью лица и приличностью манер; тем не менее она крепко забрала Хлютикова в свои руки, и самого ничтожного предлога было ей достаточно для целой семейной бури. Сердечное прошлое Якова Аристарховича было далеко не безупречно; естественно поэтому, что даже и ненарочная встреча с какой бы ни было женщиной давала жене основание говорить о легкомыслии ее благоверного. Кроме того, так как Марья Алексеевна (имя Хлютиковой) не стеснялась в выборе обстановки для своих жалоб или простой ругани, то Хлютиков принимал все средства, чтобы не раздражать жену и, вследствие этого, не быть посрамленным ею в глазах своего общества.

По получении письма, извещавшего о внезапной ревизии, Василий Максимыч, до казначейства, направился к дому Хлютикова. Лицо его имело болезненный вид, осунулось, стало еще мрачнее и непривлекательнее; в глазах имелся какой-то страх, подлое малодушие... В долгих и невеселых размышлениях прошла для него ночь... Прежде всего, прочитав письмо, он стал как вкопанный, словно поразил его громовой удар. Это было какое-то уничтожение всего того, что есть в человеке человеческого. Необходимо исчислить все потери, которые он мог понести, разбитие всего, о чем он мечтал, гибель всего, что он любил, перспективу будущего положения, внезапность известия — и тогда уже можно судить о впечатлении, произведенном на Василия Максимовича письмом о ревизии... Где был для него исход, возможность малейшего оправдания, основания для пощады?.. Оправившись от удара, он перебрал все средства, чтобы извернуться, выиграть время, но увидел в результате, что существует одна только нить спасения: достать деньги на время ревизии, хотя бы ценою сильнейших потерь — на самых невыгодных условиях. Но и за этим не к кому было обратиться... Разве можно рассказать всякому о беде, упавшей на голову? Притом, чтобы помочь ему, мало иметь добрую волю: необходимы были сто тысяч... Только у одного Хлютикова в откупе могла найтись подобная сумма... Но Василий Максимович, как ни был он расстроен, ясно понимал всю силу нанесенного Хлютикову оскорбления и потому вначале даже не остановился на мысли просить денег у Якова Аристарховича. Впрочем, так как выбора не представлялось и так как утопающий хватается даже за соломинку, то Переченко мало-помалу, незаметно для себя, порешил, что хоть тут нужно попытать счастье; — он припомнил русскую пословицу: «попытка не пытка — спрос не беда...» Какое бы несчастье ни упало на голову человека положительно честного, последний, чувствуя свою правоту, сознавая сделанное им в жизни добро, бодро переносит свое горе, он не теряет надежды на свои силы, ждет справедливого возмездия. Человек же действительно виновный надежды такой не имеет и нередко, желая отбросить беду, вместо оплошности делает преступление; оступившись, сам добровольно катится в нравственную пропасть.... Если он на что-нибудь рассчитывает, то только на милосердие людей, на которых он тогда, по странному и ни на чем не основанному умозаключению,

возлагает обязанность относиться к своим ближним человекомно и снисходительно, хоть сам, в свой черед, дышит к этим ближним одною ненавистью, безграничною злобою, словно не он виноват, что сделал преступление, а виноваты те, что раскрыли преступление. При несчастье и вообще-то обиденная логика уважается мало: но у человека виноватого она в этом случае совсем пропадает...

Так и Переченко. Признав прежде совершенно справедливо, что ему невозможно обратиться за помощью к Хлютикову, он порешил в конце концов, что последний и не может, и не должен отказать ему в просьбе о ссуде денег, так как Василий Максимович заем обеспечивал залогом и был согласен на всякие проценты... Была даже минута, когда он как бы слагал всю вину на Якова Аристарховича: попроси, мол, он умнее руку Сони — я бы не отказал ему... стало быть, не связался бы с Зубовым, и не находился бы в том положении, в котором теперь нахожусь...

Тем не менее, несмотря на эти заключения, Переченко сознавал всю шаткость своей надежды и с подлою трусостью вошел в дом Хлютикова. Навстречу ему попала Марья Алексеевна.

Французы говорят, что «les beaux esprits se rencontrent»; вероятно, по разуму такой поговорки, жена Хлютикова чувствовала к Переченко род какого-то уважения: солидным человеком был он в ее глазах. Поэтому не без недоумения увидела она на его вечно спокойном и хмуром лице какой-то отпечаток внутренней боли и нравственного бессилия. Впрочем, даже это не возбудило в ней соображений, могших навести на мысль о действительном состоянии Василия Максимовича; и она все же приняла последнего как почетного гостя.

— Муженек ваш, небось, спит? — необычно мягким голосом заговорил с нею Переченко.

— И не говорите, батюшка Василий Максимыч! — барабаном его поднимать нужно... У него не так, как у людей: дела, мол, не делай, а от дела не бегай, — без пинка и не шевельнется... Словно мужик какой, прости Господи! Гром не грянет, так и креста не положит... Все дрыхнет дрыхалом своим...

— Ну, коли спит, — перебил ее Переченко, — так я другим разом зайду.

— Ой, тошно мне, батюшка Василий Максимыч, что вы говорите! Для вас он буркалы-то свои протрет; сейчас разбуду его... Чайку откушаете?..



— Подожду...

— Ну и прекрасно!

Марья Алексеевна побежала будить мужа, а Переченко уселся в зале и, ожидая прихода Хлютикова, невольно подумал, что едва ли Марья Алексеевна не помешает ему в переговорах. Хотя бы провалилась она! — невольно пожелал он ей вдогонку. Опасения, впрочем, оказались напрасными: Хлютиков вышел скоро, а жена, занявшись приготовлением чая, только урывками являлась в комнату.

— Может, удивит вас, Яков Аристархович, мой приход,— заговорил после первых неловких приветствий Переченко,— но по делу ходить — не шлюнды бить, а я к вам по делу, с просьбой.

Хлютиков положительно не знал, что ему думать о приходе Василия Максимовича; когда же последний завел речь о какой-то просьбе, которую намерен изложить, то бывший претендент Сони инстинктивно почувствовал, что дело идет не на шутку, что есть важная причина, заставляющая Переченко обратиться к нему... и в нем зашевелилась старая злоба, старая жажда мести; он заранее решил исполнить всякую просьбу Василия Максимовича, лишь бы в самом исполнении нагадить ему, подвести его. Словно ворон, чуял он свою добычу, и только напрягал все свои мысли к тому, чтобы месть вышла почувствительнее. В его мозгу прошло воспоминание и о поруганном самолюбии, и о всех тех невзгодах, которые вытекали из отказа в руке Сони.

— В чем ваша просьба? — обратился он к Переченко.— Чем могу служить?

— Денег нужно,— коротко и глухо ответил Переченко.

— Денег? Что ж — можно! Сколько угодно.

— Много денег,— еще глуше сказал Василий Максимович.

— Хоть сто тысяч...

При этой фразе Переченко невольно вздрогнул: ему показалось, что Хлютиков словно знает о его нужде — и в его голову закралась мысль о том, не Хлютиков ли был доносчиком? Но, сообразив, что откупной поверенный не гений и ворожей какой, Василий Максимович отбросил эту глупую мысль и, постаравшись придать своему голосу игривый тон, заявил Якову Аристарховичу, что ему нужно именно сто тысяч.

— Это вправду? — в свой черед изумившись, спросил Хлютиков.

— Вправду. Знаете, по пословице — отдай жену дяде, а сам... Ну, знаете! Сам дал, а теперь и проси...

— На что же?

— Мое дело. Коли дать хотите — давайте: я обеспечение представлю; а нет — так и суда нет.

— Да ведь вы, Василий Максимыч, из казенных можете взять своей господской рукой, так зачем ко мне с просьбой?

— Я казенных не трогаю...

— Ну, Бог с вами!.. Обеспечение же какое?..

Переченко вынул из кармана закладную Зубова и его векселя.

— Тут на триста тысяч,— сказал он.

— Ну уж извините, за все векселя Зубова и полтинника не пожертвую; а вот закладную позвольте прочесть.

И он внимательно принялся за чтение. В это время вошла Марья Алексеевна вместе с работницей, несшей чай и печенья.

— Милости просим! — отнеслась она к Переченко, — не побрезгуйте. Я знаю, батюшка Василий Максимыч, что пить вы не изволите, так я и не поштую, а прикуску не обесславьте: стряпка у меня мастерица!

Печенья в самом деле были превосходны, но Переченко мало обращал на них внимания, так как с жадностью следил за выражением лица Хлютикова, читавшего бумаги. Ему хотелось подметить на лице последнего решение вопроса о том, согласится ли тот дать под эту закладную деньги. Все существование Василия Максимовича выражалось в этом вопросе; он ни о чем больше не думал и поэтому на ухаживания Марьи Алексеевны ответил такой нелепой фразой, что даже эта баба раскрыла глаза. Хлютиков поспешил на выручку.

— Эх, Марья Алексеевна, ты нам не мешай, мать моя! — сказал он.

Та вспылила.

— Да где это видано,— начала она обиженным голосом,— чтобы когда жена мужниным делам мешала. Я, кажись, еще ни в чем тебе плахой поперек дороги не ложилась, скверная порода твоя, кабацкая морда! С чего ты слова такие говоришь мне... Другим, любовницам твоим, говори, а не мне: я паскудой твоею не была и не буду...

— Да это я только так,— мягко заметил Хлютиков, желая чем-нибудь утешить женин гнев.

— Так или не так, а ты не протопоп какой, в проповеди, рыло твое анафемское не суй, не равно без носа останешься, кумаха тебя потряси... Вот как амурь заводить — твое дело, девчонок сманивать, к чужим женам мелким бесом подсыпаться — на это ты витязь, Аника-воин; а мне обиду приносить не дорос, незёмная тварь такая. Не любовница я тебе, а жена...

Тем не менее, окончив свою ругань, Марья Алексеевна ушла в другую комнату. Воцарилось молчание, продолжавшееся около десяти минут. Переченко ждал, а Хлютиков обсуживал... Странная вещь! Незаметный, но сильный толчок дали его мыслям последние слова жены... «Не любовница, так жена,— думал он,— а коли не жена, так любовница... Ну, Софья Васильевна, честь вам и место»,— и плотоядное воображение «человека с наклонностями к изящному и прекрасному» стало рисовать ряд соблазнительных картин, где бедная Соня играла самую жалкую, самую унижительную роль: нет той грязи, нет того развратного помысла, которые не кинул на нее в эти минуты Хлютиков.

— У меня с вами, Василий Максимыч, старые счета есть,— сказал он вполголоса,— но я человек не злой, я денег под закладную дам, только скажите: надолго ли? Да еще...

— Больше, чем на месяц, не нужны,— живо заговорил Переченко, обрадованный согласием.— За проценты не постою.

— Я и процентов не возьму, а вот загвоздочку одну предложу.

— Ну?

— Эх, Василий Максимыч,— наклонившись к уху Переченко, прошептал Хлютиков,— не дали вы Софью Васильевну мне в жены, так, заместо процента, дайте ненадолго... в любовницы...

Переченко отскочил как ужаленный.

— Каторжный! — заорал он, подскочив с кулаками.— Дочь мою!

Хлютиков испугался не только ради физиономий казначея, но особенно струсил громкой фразы, которую могла услышать Марья Алексеевна.

— Кричать нечего,— заметил он с досадою,— мои деньги — ваш товар; ну, не нравится — так спина к спине и пошли врозь... а иначе денег не дам.

Переченко опустил. Неожиданное слово, сказанное Хлютиковым, поразило его точно так же, как и весть о ревизии. Идя со своею просьбою, он думал, что Хлютиков или вовсе не даст деньги, или заломит за них необычайные проценты; но, чтобы ставкою была Соня, он не предвидел и предвидеть не мог. В голове его, вследствие этого, образовался какой-то хаос, в котором кричали, бесновались страшные, уродливые образы: тут был и ревизор, была и Соня, и Хлютиков, и деньги, и покойная жена — словом, сброд всего: и прошлого, и настоящего. Не имей перед собою лица Якова Аристарховича, долго бы стоял Переченко в таком полубезумном состоянии... Но эта ненавистная рожа глядела так насмешливо, нахально, обидно, что способность суждения мало-помалу возвратилась к Василию Максимовичу, и он начал разбирать свое положение...

«Спасенье есть, — раздумывал он, — деньги найдены, разве можно не взять их? Ведь она же иначе погибнет! Вот подъедет ревизор... в казначействе денег нет... все берут... все арестовано... Я сам в острог... суд... Все, нажитое, целою жизнью, рядом лишений, утрат, несчастий, преступлений, все идет прахом... Там — один позор Сони (и кто его узнает — ведь можно ехать на другое место!), тут — позор и дочери, и отца... В прошлом — ужас, в будущем — нищета и презрение... А ей-то? Коли все отымут, все ограбят, я буду в остроге — где ей кров?»

Путем этих длинных вопросов самому себе и этих на них беспорядочных ответов, Переченко незаметно свыкался, приручал себя к мысли о продаже дочери... Ея минутный, тайный позор давал счастье отцу; он через это терял свою возмутительность, терял свой ужас... Ведь если деньги спасены — дочь обеспечена на всю жизнь... она может выйти замуж... Найти человека. Ведь в самом деле — все это может случиться и случается... Выбор Василием Максимовичем был сделан!..



## ПОСЛЕ ПРАЗДНИКА

Андрей Иванович праздновал день своего рождения; еще с утра в его небольших комнатах шел «дым коромыслом». Часов до десяти хозяин принимал поздравления, кульки, деньги, шкуры и пр., пр.; на столе уже стояла закуска с длинным рядом бутылок водки и наливок... Всем заправляла вертлявая и изрытая оспой девица, слышшая под именем городнической племянницы, тогда как, в существе, она играла при городничем роль, не имеющую ничего общего с родственными узами. Катерина Сергеевна (так звали эту хозяйку, разрядившуюся по-своему в пух и прах) отличалась домовитостью, умением все заготовить вовремя, как следует обойтись с соленым и моченым, и она развернулась в этот раз широко, так что Андрей Иванович усматривал с видимым удовольствием, как гости его находили закуску по вкусу и истребляли ее с особенным спехом. Любитель карт, судья, на целый час не заводил разговора о своей страсти, то подходя к рыжичкам или груздочкам, то прохаживаясь по икорке или туруханским сельдям. Письмоводитель «царапал» по громадной рюмке через каждые десять минут и закусывал, по обычаю, квашеной капустой. Компанию ему поддерживал учитель приходского училища, Иван Евграфович, которому — от хорошей жизни — и руки, и ноги оказывали самое ничтожное послушание.

— Я третий день мочу морду,— скромно заявил он письмоводителю.

— А я, брат Евграфыч, все пост — покаяние содер-жал; только нынче новорожденный разрешение вины и елей даровал: ныне, мол, отпускаю раба своего с миром...

Исправник, неперемный, стряпчий и Хлютиков составляли особую группу; разговор их был скабрезного характера и поэтому велся под сурдинку.

— Поповны на этот счет — первый сорт! — возгласил между прочим стряпчий.

Судья, почтмейстер, секретарь земского суда и протопоп говорили о переменчивости счастья земного.

— Наш, например, поп Васька — каким сырком приехал, а вот на миссионерстве в белугу претворился...

— Да узрит, мол, из сего порося — карася! — сострил на это почтмейстер.

— А уж как я в последний раз Федор Федорыча наказал, — загнул судья, — не везло, не везло, знаете, а три с полтиною содрал!..

Местный эскулап Федор Федорович Вервикин или, как называли его в Ковальске, «сор выкинь», любезничал с Катериной Сергеевной, которая, вследствие отсутствия ревности у Андрея Ивановича, вербовала и находила поклонников на стороне.

— Как мне желательно сумасшедших посмотреть! — заявила она.

— Будто?

— Вот вам крест! Ужась, как занимательно!.. Мне про одного рассказывали: возьмет да запряжет в повозку лошадь, корову и жену свою.

— Это Разуминский в Томске...

— Ну, он и есть... Только говорят, что не любит, когда мальчишки ему скажут, что он курицу украл: ужась ругается...

Знаменский, дьякон и столоначальники переходили от группы к группе, а оттуда к столу, где красовались графинчики. Кашель Знаменского нередко покрывал все разговоры и возбуждал содроганье наименее нервных.

— Вы бы, Федор Федорыч, — отнесся исправник к эскулапу, — вместо того, чтоб курбеты строить, лепешек каких Знаменскому прописали: уши ломит.

Исправник недолюбливал доктора за исправницу.

С полудня, после обеда и пирога, раскрылись столы, пошли сперва коммерческие игры, а потом и банчишко... Много в это время произошло разнообразных эпизодов: письмоводитель разругался с Знаменским, Евграфыч за-



снул на стуле и, сонный, упал на пол, Федор Федорович на полчаса пропадал с Катериной Сергеевной; судья два раза сбегал домой за деньгами и пр., и пр. Гости то исчезали, то снова появлялись... Однако часам к двенадцати ночи в квартире Андрея Ивановича остались только исправник, стряпчий и судья, у которых с переменным счастьем шла игра на сотни рублей.

Вдруг, среди ночной тишины, издали зазвякал колокольчик, звон его мало-помалу становился слышнее и слышнее, словно направляясь к дому городничего.

— Кто бы это мог быть? — невольно спросил каждый друг у друга.

Экипаж в самом деле остановился у городских ворот и, пока чиновники переглядывались, вошел в комнату кучер Андрея Ивановича.

— Два каких-то чиновника, ваше высокобродие, — объявил он:

— Свои?

— Никак нет.

Все привстали.

— Проси, проси! — торопливо заговорил Андрей Иванович, — да скажи Кате, чтобы поужинать приготовила.

Через несколько минут в комнату ввалились две высокие фигуры, одна в статском, другая в военном платье.

— Ассессор, надворный советник Раковецкий, — отрекомендовался первый, подавая городничему пакет.

— Жандармский адъютант Веселков, — отнесся к нему другой.

Городничий и его гости, видимо, струхнули. Дрожащими руками разломал Андрей Иванович печать; по прочтении бумаги лицо его прояснилось.

— Всегда-с, днем и ночью, готов исполнять службу, — заговорил он, юля перед приехавшими. — Не угодно ли с дороги оправиться... закусить чего-нибудь?

Ассессор взглянул на своего спутника.

— Нельзя! — резко возгласил последний. — Сначала служба.

— Да, сначала служба! — поддакнул Раковецкий, хотя, собственно, был не прочь поест и отдохнуть, а там больше приняться за банчик.

— Пригласите кого следует...

— Вот имею честь представить — судья, вот-с — местный исправник, а вот они — стряпчий; по случаю моего рождения собрались...

— Так потрудитесь, господа, отправиться с нами! —



серьезно, официальным тоном, обратился к ним жандармский офицер.

Пока все одевались, судья успел спросить Андрея Ивановича, в чем дело.

— Печатать казначейство... внезапное свидетельство...

Курьезную картину представляло шествие этой группы, тихо, беззвучно подвигавшейся к казначейству. Перепуганные ручным фонарем, освещавшим дорогу, собаки злобно лаяли и выли; многие мирные граждане, вернувшиеся от Андрея Ивановича с туманом в голове и слабостью в ногах, вообразили, что где-нибудь пожар, и повыскакивали на улицу; ничего не увидев и не услышав, снова поспешили заснуть; те же из них, кому удалось узреть фонарь, поплелись было на огонек, чтобы удовлетворить любопытство; но потом, приняв таинственно шедших за варнаков, в страхе вернулись по домам и заперлись накрепко. Группа в самом деле походила, скорее, на шайку разбойников или заговорщиков, чем на чиновников-ревизоров... Василий Максимович, извещенный посланцем, был уже у двери казначейства. Городничий отрекомендовал его, и ассессор, как сослуживец, подал казначею руку. Последний был не только покоен, но еще с какой-то насмешкой поглядывал на церемонию, которая, по мнению присутствовавших, должна была погубить его. Церемония, впрочем, была непродолжительна, и ассессор с жандармом отправились к городничему, где поужинали, поболтали и заснули таким крепким сном, каким спят только после длинной дороги... А от губернского города Ковальска было почти шестьсот верст.

Рано утром о приезде знал весь Ковальск, из дома в дом шмыгали чиновники и их жены, разговорам не было конца.

— Да-да, мать протопопица, — распевала носом Знаменская, — попался медведь наш в капкан, не вывернется... Вот тебе и богачей!.. знать никого не хотел!

— Гордых Бог не милует...

— Уж куда миловать варнаков таких, жену заморил, дочка, говорят, как свеча тает, а он вон на какие художества пускается... в казначействе то есть ни копеечки: все подтибрил.

— Облопался!

— Уж подлинно, что облопался.

— Еще чашечку...

- Ах нет, мать моя, к исправнице на секунду забе-  
гу — может, там еще что услышу: антиресно ведь!  
— Разумеется... А ко мне оттуда завернете?  
— Ноги устали, но заверну, мать моя.

К нескончаемому удивлению своему, у исправницы Знаменская узнала, что, по поверке в казначействе, все деньги оказались налицо, что, будто, если и есть какая неисправность, то в чем она — сам ассессор вдомек не возьмет.

- Ах, милая моя, в чем же, в чем?  
— Ей-ей, сказать не умею.  
— А он-то попадетса за нее?  
— И-и, милая моя, бабушка надвое сказала.

В самом деле, в казначействе ревизоры не знали, что и думать: денег оказалось именно столько, сколько было по книгам. Мало того, все, что предполагалось к поступлению, было записано, ни одна статья не пропущена. Вся разница заключалась в том только, что суммы бумажек и звонкой монеты были показаны иначе, чем в действительности.

— Почему это? — спросил жандармский офицер Переченко.

— Всегда так бывает: я вам сейчас сто рублей разменяю на медь: ну, одной бумажкой станет больше, а тысячью гривен меньше.

Ревизия окончилась часов в восемь вечера, по окончании ее Веселков отвел Раковецкого в сторону.

— Все? — спросил он.

— Все...

— Верно?

— Верно.

— Как же донос?

— Мало ли что сорока на хвосте приносит...

— Вы думаете?

— Да вы на рыло этого «протобестии» посмотрите: он на деньгах издохнет, а не размотает их.

— Что же дальше делать?

— Подмахнуть акт да махнуть назад...

Квитанция была написана, подписана и вручена казначею; тот взял ее с нервной поспешностью, уложил все по-прежнему и отправился домой... Чем ближе к дому подходил Переченко, тем мрачнее и мрачнее становился он. Целый рой дум, разогнанных деятельностью при ревизии, хлынул на него с ужасающей силою... Василий Максимович пошел в своей кабинет и, не раздеваясь и

не зажигая свечи, бросился на кровать. Вокруг было тихо и темно, словно в могиле.

Едва слышно скрипнула дверь. Неровными, беззвучными шагами, как тень какая, подошла к постели Соня.

— Отец! отец! что ты со мною сделал? — застонала она через силу с судорожным рыданием, зашаталась и рухнула на пол.

Переченко вскочил.

— Эй, кто там! Огня! Воды! Олимпиада! Михайло!

Положительно растерявшись, Василий Максимович кричал, метался во все стороны, приподымал Соню, опять опускал ее на пол, дул в лицо, вытирал спину и снова звал людей...

Наконец появилась кухарка с салным ночником, едва мерцавшим бледным, копотным пламенем. Картина, представившаяся ей, ужаснула ее и напомнила ту страшную ночь, когда она потеряла мужа, детей и сама была истерзана и измучена.

Мрачная фигура казначея, возившегося около дочери, принимала причудливые формы; распластанная на полу Соня была бледна, как мертвая; при вспыхивании ночника и она казалась страшною..! Немая женщина сама потеряла способность движения и статуей стояла у двери.

— Господи, Господи! — закричал Василий Максимович, схватившись за голову, — ты мя наказуешь.



## ДОНОСЧИК

В два года Константиновка совершенно изменила свой вид. Там, где прежде шли работы, в настоящее вре-

мя только печально глядели остатки брошенных строений. Выработанный разрез был полон воды; главная дорога пролегла в стороне. От первобытных лесов в ущелье оставались одни горные обожженные пни. Жилье рабочих, дом управляющего, магазины, амбары, конюшни находились в другом конце прииска, верстах в пяти от прежнего места, которое было выработано и поэтому безжалостно кинуто... Но с переменою местонахождения мало изменился порядок, раз заведенный в Константиновке; только число приисковых построек увеличилось, и там и сям между ними шмыгали бабы и ребятишки. Заправлял делом по-прежнему Ястребов; помощником его оставался Сунгуров. На них истекшее время отразилось сильнее. Ястребов не глядел уже молоденьким офицериком, признающим жизнь шуткою; печать тяжелых забот и внутренних страданий лежала на его физиономии; он оброс; глаза его потеряли блеск, а движения — живость; молчаливо, спокойно, чуть не мерными шагами, отправлялся он поутру и ввечеру на окончательную промывку. Неразговорчивый с окружающими, он внушал им какое-то томительное чувство не то страха, не то сожаления. Приняв золото, он отправлялся в свой домик и сидел там один, роясь в книгах и проверяя отчеты. Несколько раз, во время промысловой операции, он уезжал в Багул, проводил там несколько дней, разговаривая о делах, по преимуществу, с лицами, имеющими силу и власть, и неохотно возвращался на прииск, чтобы снова зарыться в книги.

Сунгуров представлял собою явление совершенно противоположное. Он словно похорошел, распух, стал развязнее; он словно чувствовал за собою какую-то силу, и если при других держался с Ястребовым почтительно, то, оставшись с ним один на один, глядел в глаза своему начальнику так мошеннически нахально, что Луку Иринарховича не раз позывало плюнуть ему в морду, но плевок почему-то замирал на устах начальника, а физиономия подчиненного оставалась чистою, лоснящеюся... Впрочем, изменив выражение лица, Сунгуров почти не изменил костюма, носил те же бакенбарды и так же пил, хотя после каждой попойки делал себе зарок не дотрагиваться до рюмки. Его домик стоял почти рядом с домом, занимаемым Ястребовым, и с утра до вечера в нем было заметно движение, так как Александр Иванович выписал на прииск жену и дочь. Жена, Лизавета Михайловна, была олицетворенным высокомерием, олицетво-

ренною пошлостью, но в то же время и «бабой себе на уме», которая обыкновенно работает мало и дурно, но командует много и мастерски... Не такова была дочь их Оля: среднего роста, худенькая, белокурая, с насквозь сквозящею кожицей. Она выгодно рисовалась, становясь рядом с матерью, с которой соперничала только в бездельи. Кое-как выучась, Оля очень любила сонники и песенники и из последнего источника почерпала стишки о нежных чувствах. Как ни пошлы были эти вирши, но, употребленные у места, они производили приятное впечатление и придавали хорошенькой девушке поэтический колорит мелкотравчатой барышни. Между тем прошлое ее представляло мало поэтического: ради отцовских интересов не раз приходилось ей расточать жар молодости на чиновных старичков, видевших в женщине только кусок сочного мяса. Единственное несколько поэтическое воспоминание в ее жизни оставлено было товарищем детских игр, когда она девочкой от 8 до 13 лет жила на князефеодоровском прииске. У бедной соседки был сын Николашка, черномазый мальчишка, веселый и забубенный, смешивший ее всегда своими прибаутками и выходками. Оля предпочитала веселого мальчишку не только своим подругам, но даже и тем большим барам, которых ей случалось видеть. Даже пустяками Николка так мог угодить ей, что Оля сама искала с ним встречи, изредка целовалась и барахталась с ним. Но вот уже около десяти лет рассталась она с кудрявым мальчуганом, и когда ей в грустные минуты случалось вызывать воображением его образ, то с каждым годом он становился бледнее и бледнее, вспоминался реже и реже, и если бы Оля встретила случайно Николашку, то, по всей вероятности, вовсе не узнала бы его... Однако они встретились. Раз Александр Иванович вернулся домой к обеду крайне недовольный и рассерженный и, направившись прямо к шкапчику, в котором стояла водка, выпил залпом две рюмки.

— Что ты такой забыганный? — спросила его Лизавета Михайловна.

Александр Иванович не ответил, но этим только возбуждал большее любопытство своей драгоценной половины.

— Тебя спрашивают? — отнеслась она. — Али язык вывалился?

— Отстань ты — и без тебя тошно.

— Пошто?

— А по то, что нынче всякая шваль лучше нас в счет пошла.

— Это как?

— А так, нового начальника прислали! Поди-ко подивись — франт какой! Самому управляющему спуску не дает... Семи свиньям корму не раздаст, а на нашего брата и глядеть не хочет.

— Да кто ж такой? — с женским нетерпением перебила Лизавета Михайловна.

— Птица невелика... Помнишь на Федоровке Николку Гурина, теперь. — наше почтение, Николай Петрович... Козырем глядит: в Багуле школу изволил кончить — ученый!

Оля, присутствовавшая при этом разговоре, вспыхнула.

— Что ты, Александр Иванович, — уж будто Николка в люди вышел?

— Еще как! Без двух палец — китайский балдыхан... Я было к нему: «Маленького, мол, тебя, Николка, за вихры драл — не прогневайся!» Так куда ты! «Теперь, говорит, должно, руки коротки стали — не дохватите!» Аж злость взяла!

— Да это он, тятенька, может, так, — вмешалась в разговор Оля, — он всегда хлопуша был...

— И впрямь, Александр Иванович, — подтвердила Лизавета Михайловна, — может, человек спроста сказал, а ты в сердце ударился. Может, он и ничего.

— Ну, барыни, учить-то меня поздно; я сам с усам. Видна птица по полету; хорька от бурундука отличить сумеем. Видали мы таких... С ним пива не сварись.

— Не сварись — так и спустить можно. Рази не в твоей власти? Ведь наш-то с тобой не ястреб, а курица мокрая...

— Что было, то видели, а что будет, то посмотрим; а только знаю, что с ним мне не ужиться... Мое слово верное.

Во время разговора Сунгуров очень часто прикладывался к рюмке и в конце обеда оказался совершенно пьяным. Бормоча про себя, отправился он спать. Оля, оставшись с матерью, невольно задумалась над сообщенной ей новостью.

«Вот он, Николай, стал каков! Посмотрим — небось хуже не сделался...» — И она запела некогда знаменитый романс:

Моего ль вы знали друга?

Он был бравый молодец:  
В белых перьях штатский воин,  
Первый в бани и боец.

«Помнит ли он меня? — снова задумалась Оля... — Такой ли веселый, как прежде был, или нос задрал? Женат он или холост? Коли женат — какова жена? Молода ли? Хороша ли? Какого звания? Может, тоже чиновничья дочка... Он, должно, в конторе остановился... почитать был...»

Вследствие последних соображений Оля несколько принарядилась и отправилась на прогулку к направлению прежних работ. Ходила она недалеко и преимущественно вертелась около конторы: но так как никто не выходил навстречу, то она повернула к промывальне.

«Уж тут, наверное, его увижу!» — подумала Оля.

Действительно, около вашгерда стоял молодой человек, не особенно красивый, но и не уродливый, с черными глазами и такими же усами, в щегольском форменном платье. Он пересмеивался с рабочими.

— Ну, и песни у вас поют? — спрашивал он.

— Как же-с, поют, — ответил промывальщик.

— И про начальство?

— И в том грех есть.

— А ну — спой!

— Осерчаете...

— Эх, башка! Коли б из сердитых был — давно бы взлупку дал, чтоб золотины на хвост не бурил.

— Вишь ты, и это увидел, — дружески заговорил промывальщик. — Значит, впрямь не сердитый. — И, продолжая действовать гребком, запел на мотив солдатских песен:

*Наши горныя работы  
Всем чертям дают заботы:  
Всяк стараться очень рад,  
Чтоб подрудок был богат...  
Офицерам хоть не скучно,  
Зато быть им безотлучно...  
А забота наша в том,  
Чтоб разделиться с урком,  
Чтоб нарядчики на нас  
Не косили своих глаз,  
Своих глаз бы не косили,  
У нас денег не просили,  
Не грозили бы рукой,*

*Не махали бы лозой,  
Чтоб не выбрали пять раз,  
Пока выробишь наказ...  
Не успеешь, значит, лечь,  
Как валится кожа с плеч...  
Да оттудова валится,  
О чем петь нам не годится.*

— Это, свет наш, умильна — змеиногорская плавильня! — сказал другой рабочий, когда промывальщик кончил песню... — Это оттудова, а у настут такой ндрав идет, что песни петь не приходится; с Александр Иванычем шутки плохие — аспид настоящий! Вот по скольким промыслам я был, а такого зверя никогда не видел. У управляющего он силу забрал и командует: что в зубы дать али вздуть с матушки головушки по самы пятушки — небось не спросит ни у нянюшки, ни у бабушки... Натрескается, дьявол этакий, спозаранку — и не попадайся... Мы и управляющему сколько разов жалились — ничего не поделаешь: как Сунгуров скажет — так тому и быть: объехал, значит, совсем... В бегу-то у нас сколько!

— Вот так! — ответил новоприезжий, — ну нет, брат, со мною так не пошалишь, я ему форсу-то пособию: так прихлопну, что мокро станет...

— Богу молить заставили бы за тебя, а то ведь не жисть нам, а каторга... Робить мы все ничего, да драть так не приходится!

Оля слышала весь этот разговор; еще пристальнее заставил он ее присмотреться к новой личности. Физиономия немного разочаровала ее, но бойкость напомнила старого Николку.

— Такой же черномазый, — порешила она, — беда, что с тятенькой в ссору лезет: был бы человек, с кем занятно провести время можно.

Бывший Николка, теперь Никола Петрович Гурин, обернувшись, в свой черед заметил Олю.

— Это что за куропатка? — тихо спросил он у промывальщика. — У вас и этакая дичь водится?

— Есть. Дочка Александра Иваныча, барышня.

— А зовут ее как?

— Ольга Александровна.

— Вот тебе и раз: старая знакомая!

Ловко и бойко, приподнявши фуражку, подлетел Гурин к Оле.

— Я имел счастье, сударыня, знать вас в малом дет-



стве, — обратился он к ней, — на Князь-Феодоровском прииске... Может припомните-с?

— Кажись, Никола Петрович?

— Он самый...

— Какой вы большой стали!

— И вы-с, Ольга Александровна, не поменьшали...

Время идет: чай, лет десять не виделись...

— А теперь вы зачем к нам попали? — спросила Оля, будто не зная о назначении Гурина. — В гости что ли?

— Нет, не в гости: к вашему папеньке в товарищи поступаю, тут и жить буду.

— Очень приятно.

— А мне так вдвое!

— Только вы что-то уже с тятенькой поцапались...

— Разве он вам говорил?

— Нет, он не говорил, а я слышала, как вы с промывальщиками рассказывали.

— Да это я только так, а я папеньку вашего всегда почитать буду: он и старше меня, да и Лука Ирнархович к нему большую расположенность имеют. Они мне о нем в самых отличных красках разговаривали.

— А вот вы, однако, обещались прихлопнуть его...

— Правду, значит, говорят: слово не воробей, вылетит — не поймашь... Да ведь нынче нельзя, Ольга Александровна: все нужно рабочим утешение сделать... Ну, значит, необходимо и начальника выругать; на этот счет их пряниками не корми.

— А вы к нам придете? — спросила Оля после небольшого молчания.

— Коли вы позволите да ваш папенька позовут — так непременно, за особую честь почту...

— Да вы, может, женаты — так вам некогда.

— И-и! Я женат! Нет-с! Ольга Александровна, мне женитьба некстати, из училища только нырнул... Да и девушки по душе не знал... Вот вас так всегда я вспоминал, найти не думал... Теперь, как нашел, с большой охотой у вас бывать буду: ведь тут, на приисках, должна скука быть?

— Иной раз — хоть плачь.

— То-то... Ольга Александровна! А если я вас спрошу что — ответите по правде?

— Говорите...

— Вы меня вспоминали?..

— Ишь что! Много будете знать — состаритесь скоро... Может, и вспоминала...

— Да как вспоминали? Ведь я мальчишкой был, когда вы с приска уехали: черномазый, мол, Николашка, да и только!

Мало-помалу разговор их принял оттенок большой сердечности и простоты. Гурин сразу заметил, что Оля интересовалась им, и это польстило его самолюбию; старая привязанность также повеяла на него, и вскоре прежние приятели были друг другу далеко ближе, чем предполагали быть. В тот же вечер Гурин отправился к Сунгурову и просидел у него до полночи. Нельзя сказать, чтобы его встретили сердечно и радушно. Александр Иванович прямо высказал свое неудовольствие; Лизавета Михайловна говорила свысока, словно хотела дать понять, что он в глазах ее — прежний Николай; но последний видел расположение Оли и поэтому, не обращая внимания на ее достопочтенных родителей, болтал без умолку. Он рассказал, как добрался до Багула, как случайно попал в училище, как учили там и чему учили, копировал учителей, рассказал о разных багульских сплетнях. По уходе его Александр Иванович заметил, что он фендрик и что батюшка царь Петр Великий будто выразился: «Куда, мол, фендрик заберется, то добра не будет»; Лизавета Михайловна тоже обозвала его шалопутом; одна только Оля вынесла совершенно иное впечатление. Не могла она не сознаться, что не мешало бы Николке иметь физиономию поважнее и попривлекательнее; тем не менее в болтовне его она чувствовала ум, веселость; притом внимание, оказанное и ей Гуриным, в свой черед, льстило ей, было крайне приятно. Она с нетерпением ждала его прихода на следующий вечер, но при обеде оказалось, что у Гурина с Сунгуровым вышла новая стычка, которая еще больше озлобила последнего. Александр Иванович говорил о приезде сотоварище с положительною глубокою ненавистью и невольно выразил какую-то угрозу. Оле было тяжело слушать эту ругню человека, который ей нравился, ругня эта даже еще больше заставила разбирать Гурина и вполне не согласиться с мнением родителей — и она решила при первой встрече упротить Николая Петровича вести себя с ее отцом дружелюбно, особенно потому, что, зная силу отца, предвидела в противном случае недобрый конец: она видела на опыте, что отец, не отличавшийся и вообще мягкостью сердца, готов навредить даже и приятелю, а не то чтобы простить врагу своему...

Прождав понапрасну два дня, Сля отправилась на

розыск его. Видно, что и Гурин ждал этой прогулки, потому что, едва показалась Оля, он направился уже от разреза к ней и, поздоровавшись, попросил позволения быть ее компаньоном.

— За мной вы не идите, — ответила Оля, — а то тятенька заругает, а вот я, Николай Петрович, за этот лесок пойду, шмыгните кругом — ну, мы и встретимся.

Приказание было исполнено. За кустами терновника сели они, когда сошлись вместе. Июньское солнце пекло воздух, но жар его в ущелье уничтожался вечной прохладой тайги; сосны благоухали здоровым сильным запахом; от времени до времени легкий ветерок наносил аромат черемухи; трава была высока и играла зеленью; вокруг было царственно-спокойно.

— Измучился я, поджидавши вас за эти дни, Ольга Александровна, — начал Гурин...

— Отчего же к нам не пришли? — лукаво спросила Оля.

— Да у меня с вашим батюшкой дело на лад нейдет: он глядит на Рязань, а я на Казань.

— Зачем так?

— Да нельзя же, Ольга Александровна, — сами посудите: рабочих бьет без причины, им половины провианта не дает, цену на все положил непомерную, урки ломить не по силам, — ведь это, как угодно, не закон.

— У нас, Николай Петрович, всегда так — это уж дело Луки Иринарховича: коли его воли на то не было бы — так тятенька, верно, себе не позволял бы. Вы, значит, не против тятеньки, а против самого управляющего идете...

— Какое против управляющего, — живо заговорил Гурин, — Лука Иринархович совсем иначе на дело глядит: тятенька ваш произвольствует. Я вот вчера доложил Луке Иринарховичу — так тот сперва думал, что это неправда...

— А вам чего мешаться?

— Я этого не могу, Ольга Александровна, — теперь ревизор приедет, рабочих спросит — то ведь, все скажут... тогда тятенька ваш сделал, а другим в ответе быть...

— Нет, вы уж с тятенькой не ссорьтесь...

— Я бы и рад не ссориться — так сам лезет. Вижу, что двум рабочим урки не под силу — я им льготу дал, а он за это их выпороть велел; как, мол, смели меня послушаться!

— Ну, вот бы и смолчать...

— Это как же? После этого ко мне никакого уважения иметь не будут, Коли б я даже и ошибся в чем, то папенька ваш мог мне как товарищ сказать, а не то чтобы людей за это пороть! А он меня на смех выставил нарочно.

— Если с тятенькой ссориться будете, то нельзя нам видеться.

— А вам разве хочется?

— Нет, я только так...

— Я-с, Ольга Александровна, со своей стороны все сделаю; только что терпеть невозможно — так не моя вина, что раздор пойдет...

— А вы лучше не ссорьтесь.

— Ну, положим, поссорюсь: ужто никогда посидеть не приедете?

— За эти посидения, Николай Петрович, пожалуй, и поплачешь...

— Вот выдумали! Не такой я человек: я всегда к вам с уважением.

Однако уважение это не помешало Гурину после трех-четырёх встреч с Олей встать к ней в отношения очень близкие. Она не могла разобрать, как это случилось, но отступать от раз сделанного она не была в силах; свидания продолжались, несмотря на то, что отношения ее возлюбленного к отцу становились хуже и хуже. Любо было ей, сидя темным вечером под пахучим деревом, толковать с своим милым; кругом тишь; только журчанье Константиновки да оклик птицы говорили о жизни природы... Нередко Ольга с Николаем, обнявшись и болтая, заходили далеко-далеко и просиживали в тайге целую ночь. Им было так хорошо, что с сожаленьем расставалась Оля раннею зорькой, чтобы, крадучись, лечь в постель, не разбудив отца с матерью... Мечтала она, что дело поправится, что отец примирится с другом милым, и она выйдет замуж...

Случилось не то. Как-то поздно вернулся Сунгуров к ужину прямо от Ястребова; он был крайне доволен и весел. Перешептавшись с женою, выпив несколько рюмок водки, он заболтал громко, и Оля узнала из отрывочных слов, что отец доволен по двум причинам: ему дано управляющим какое-то секретное поручение, и есть случай дать себя знать Николке.

— Теперь не уйдет! — восклицал Сунгуров самодовольно. — Я его в бараний рог согну...

Действительно, через день Ястребов, придравшись к

Гурину, велел отправиться ему в каталажку... Гурин вспыхнул — он чувствовал себя правым. Его возражения, в свой черед, рассердили Ястребова, и он ударил своего подчиненного. Давно Гурин не знал подобного обращения, кровь прилила к его голове, и, отмахиваясь или с другой целью, он задел за руку своего начальника...

— Вот что! — сдержавшись, проговорил Ястребов и безмолвно отправился в свою квартиру...

В Багул был отправлен нарочный; когда он вернулся, Гурин, по распоряжению начальника заводов, за буйство, нерадение и дерзости против управляющего прииском был разжалован в простые рабочие с переводом в разряд штрафных и наказанием розгами...

Исполнение экзекуции было возложено на Сунгурова.

Трудно было узнать Николая после дней, проведенных в заключении и по объявлении ему приговора: вместо лица смотрели только кости, обтянутые легкой пленкой, глаза лихорадочно горели; туловище едва держалось на ногах... Его ввели на площадку; там в два ряда невесело стояли рабочие... Гурина повалили и розги взвизгнули... Наказываемый во все время не проронил звука, но до крови искусал себе руки.

— С милостью начальства честь имею поздравить! — обратился Сунгуров к Николаю по окончании экзекуции...

Пошли дни за днями. Гурин сперва лежал в больнице, но, когда он узнал, что Александр Иванович отправился с прииска в Ковальск, выписался оттуда и инстинктивно очутился за терновым кустом.

— Коля, Коля! Говорила тебе — не послушал! — встретила его расплаканная и тоже похудевшая Оля... — Теперь что с нами будет?

— С тобой что — не знаю; а со мной что-нибудь будет.

— Что же, что?

— Увидишь... Что я теперь? Штрафной!.. К чему учился...

— Бог даст, поправишься...

— Поправляться поздно, да и нельзя: они хуже, чем убили меня... мне легче было бы, коли б жили все повытягивали... Я знаю, зачем твой отец уехал... Кому будет хуже — посмотрим.

— Да ты что, Коля, ты лучше оставь, а то опять...

— Пушай, — беззвучно ответил Николай, — а я свое сделаю.



## БУНТ

— Да, топ шер, так?.. Конечно, никто из нас не обратил на это внимания, анонимные письма всегда имеют мало цены... Но, знаешь, в Багуле в первое время оно произвело известное впечатление, une sorte de sensation... Особенно, топ шер, Замурзуев явился твоим обличителем. Когда ревизор уверял генерала в нелепости доноса, Замурзуев сильно упирался на совершенную возможность факта. Впрочем, il faut être veridique, в результате он только себе повредил. «Вы так хорошо знаете все плутовства,— заметил ему наш босс,— что мне, право, будет неловко дать вам какое-нибудь назначение: за вами не уследишь!» Ты представь, топ шер, рожу Замурзуева!

— Но, видно, поверили, если тебя прислали сделать секретное дознание.

— Это, топ шер, не больше как формальность... Получи я une mission serieuse de me mettre à la recherche d'absolu, неужели я был бы с тобою так откровенен?! Ce n'est qu'une distraction pour nous! Я приехал тебя посмотреть, а ты, si cela te fait plaisir, можешь посмотреть меня... Съездим, пожалуй, на охоту — хоть на медведя, сразимся в карты — вот и все.

— Не скажешь ли ты мне, откуда, по твоему предположению, мог выйти донос?

— Ah, са, je n'en sais rien! Замечу только, что очень обстоятельно написан: как, что, каким образом... откуда даже деньги получены. Я слышал, и в Ковальск послан ревизор... Не знаю, какие он результаты добудет, но je te dirais franchement, я — сыщик плохой!..

— Грамотно или неграмотно написан донос?

— Mais, mon cher, c'est du grec pour moi! Ты в этом отношении был бы хорошим экспертом; что же касается до меня, то еще в корпусе я ставил t, где нужно e, и обратно; теперь же еще менее смыслю в этом. Видимо, писал человек очень озлобленный... Над некоторыми вещами положительно расхохочешься — против воли! Приложены стихи — очень оригинальные. Всех не помню, но начинается так:

*Воспряньте все голодные,  
Больные и холодные!  
И встаньте чинно по местам:  
Идет бо сам  
И приближается к весам  
Отче наш!*

— Вот что!

Разговор этот вел Лука Ирinarхович с своим вечным поклонником Анзаровым, который был крайне рад, что судьба дала ему возможность стать в близкие, интимные отношения с Ястребовым. И по женитьбе, и по должности, и по кличке литератора, Лука Ирinarхович был у всех на виду. Поэтому Анзаров в Багуле добродушно пресмыкался перед ним, подражал ему, но не имел храбрости записать себя в число друзей Ястребова. Едва ли не сам он напросился на командировку, так как хотел чем-нибудь услужить своему божку, и, действительно, по приезде на прииск, он не замедлил показать Ястребову все свои бумаги, рассказать все багульские толки и свои предположения относительно будущего отчета о командировке. Он даже удивился, увидев, что Лука Ирinarхович придает какое-то значение сделанному на него доносу, удивился не потому, что считал Ястребова совершенно безгрешным, а именно потому, что ставил его слишком высоко и был уверен, что тот всегда извернется из всякой, даже серьезной опасности: на то он писатель, сочинитель! Но Лука Ирinarхович глядел на дело иначе. Он не мог не сознать, что существует на белом свете человек, желающий ему повредить, следящий за всеми его действиями и готовый, по всей вероятности, не остановиться на первой удачной или неудачной попытке.

«Сегодня приехал Анзаров, — думал он, — завтра придет кто-нибудь другой: все ли пройдет благополучно? Положим, прямых улик нет, но можно замарать себя, погубить свое имя, будущность и карьеру...»

У Ястребова же, после первой операции с золотом, зародилась мысль: сделавшись во что бы то ни было богатым, бросить Сибирь, уехать в Петербург и там двинуться быстро, если можно — с шумом, по дороге чинов, орденов и должностей. Место его нравственного падения было ему противно, ненавистно: тут всякий шаг земли, всякая бумага, каждый человек напоминали его проступок, грозили ему... Он хотел расстаться со всем прошлым возможно скорее и именно ради этого желания решился на вторую продажу золота, еще в большем количестве, чем прежде. И вот, когда он был уже близко к цели, неожиданно-негаданно заводилось кляузное дело, маравшее его служебное достоинство. «Это повредит мне, крепко повредит», — думал он и строил ряд невеселых предположений, частью основательных, но, в большинстве, не имевших практического смысла. Поэтому, хотя Ястребов и был доволен, что командировали для дознания Анзарова, тем не менее, занимаемый своими мыслями, он не мог относиться к своему гостю так приветливо, как хотел бы, не мог проводить время так весело, как это было нужно. Он отговаривался нездоровьем и, чтобы хоть на время избавиться от занимания Анзарова, предложил ему охоту — на сынов. Когда на юге Сибири, в тайге, проснешься часа в три-четыре утра, при первой зорьке, верстах в пятнадцати от всякого жилья, прискового или улусного, то там и сям слышишь тихий и нежный звук, необычайно приятную контральтовую мелодию, которую — не будучи даже страстным сибирским охотником — начинаешь внимать жадным ухом. Эту скромную песню выводит так называемый сын, особый вид оленя, подходящий к *servus alces*, большого роста, с головой, украшенной целым кустом разнообразно раскинутых роговых отростков. Первою весною, до линяния, когда старые рога отпускают молодые ростки, сын для охотника представляет особую ценность. У убитого зверя вырезают эти ростки, жгут их, уголь толкут в порошок, и инородцы Сибири, монголы и китайцы, придавая этой отвратительно вонючей пыли необычайно целительную силу, приписывая ей значение универсального лекарства, покупают ее чуть не на вес золота. В другое время года сын ценится не так дорого; но и тогда охота на него представляет свои прелести, потому что сопряжена с опасностью, с серьезным риском. По местной пословице — «на медведя иди — постель стели, а на сохатого иди — гроб теши». С сыном тоже плохо шутить шутки, так как



немало охотников навеки остаются у рябинника, убитые копытом красивого, но беспощадного зверя. Эту-то охоту предложил Ястребов Анзарову.

— Чего лучше, mon cher! — ответил последний. — C'est charmant, délicieux, original! Я согласен от всего сердца.

И ревизор, ревизуемый, и человек шесть опытных в охоте рабочих отравились в тайгу с вечера, чтобы до света быть на месте, где не раз замечали присутствие сына.

Пока начальство занимало себя «приятным, прелестным и оригинальным образом», на Константиновке дела шли не особенно привлекательно и радостно. Получив после второй продажи золота безусловную силу у Ястребова, Сунгуров не стеснялся с рабочими и позволял себе самые возмутительные вещи. Не говоря уже о том, что и паек выдавался последним неполный, и товары для них продавались слишком дорого, и работы давались не по силам; еще нередко подгулявший выскочка, чувствуя свою мощь, наказывал рабочих не только жестоко, но и несправедливо. Последнее обстоятельство, т. е. несправедливость наказания, переполняло чашу неудовольствия рабочих.

— Это, братцы, невтерпеж, — заговорил на второй день по отъезде Ястребова с Анзаровым на охоту Фролов товарищам по казарме... — Побить — пошто не побить, но если теперь без причины какой розги мочалить, так это слезой путевой холобыснуть, по крайности — враз! Тут и карачун...

Слушатели молчаливо соглашались.

— Повечер меня пошто въерепенил? — продолжал Фролов, — шапки не снял, да разве я вытараска какой, чтоб зенки-то на затылке держать стал, диковать, стало, нечего! Теперича Макарку вздул — тоже пути не было. Теперича Гурина, Николая Петровича, из человека кулюхой сделал... пошто? Бить — бей, да не с турусу какого, ляд он этакой!

— Вот, братцы, левизор приехал — станем ему жалиться, — предложил кто-то в толпе.

— Иди, жалься, коли спины не жаль! Это што за левизор, коли рабочего не спросил: доволен, мол, ты али нет? Коли с управляющим сейчас в шулу-мулу вошел! На охоту вместе поехали — это какой смотр! Я, почитай, все присковые порядки знаю, а такого левизора не видал.

— А все, коли сам не спрашивает, пойдем к нему. Этак терпеть невозможно!..

Совершенно неожиданно к разговаривающим вошел Сунгуров.

— Ах вы, варнаки этикие, пятнай вас! — заорал он. — Не робите, а только лалыки свои языком моете! Шебаршите только, паскаружники, чтоб вас язвило... вон! По местам!

— Ну нет, Александр Иванович, мы не пойдем, мы решили теперь иначева.

— Кто шарохвостит? Разговаривать со мною смеет!..

По казарме пошел гул; толпа ежесекундно росла; почти со всего прииска сбежались рабочие и загалдели; всякий нес свое; и чем больше кричал Сунгуров, тем смешнее становился он в глазах ревущей толпы; когда же, ни с того ни с сего, он выхватил Перебеднева вон из ряду других и вздумал тащить за собою в каталажку, то толпа порешила «не выдавать Макарку». Больше всех ратовал за это Фролов.

— Да что он диганится! Все Макарку да Макарку! Он других смиренней, а что случись — так его взбутетенивают. Да разве это, братцы, можно?

— Отобьем! — порешила толпа, и мигом ряды рабочих стали между Сунгуровым и Перебедневым.

— Бунтуете? — заметил первый.

В ответ на это Фролов размахнулся и так повел своею пятерней по голове и лицу Александра Ивановича, что посыпались клочки волос, и кровь струею побежала из носу.

— Что вы, братцы, даром шум делаете? — войдя в толпу, заговорил Гурин.

— Убить подлеца Сунгурова надоть! — ответил ему расвирепевший Фролов и еще раз тыкнул кулаком в зубы начальника.

— Стой! Из этого пользы не будет! — закричал Гурин...

— Будет...

— Ревизор с управляющим сейчас приедет...

Слова эти остановили шумящих; многие мигом вышли из казармы; Сунгуров шмыгнул между ними... Скоро никого не осталось, за исключением Гурина и Фролова.

— Как же это ты, Никола Петрович, за Сунгурова заступиться вздумал... Не тебя ли боле других тиранил аспид этот? Через кого в штрафные из штейгеров попал? Тебя и понять трудно — мудрено больно...

— Криком, брат, ничего не сделаешь, а я вот другое колено отпущу — авось поможет. Бунтовать же начнем — сами влопаемся, дело известное!

— Ну как знаешь, Никола Петрович, — порешил Фролов, — только мне теперь как делать? Потому что Сунгурова съездил...

— Ты уйди пока, в тайге поживи; держись близ промысла — может, понадобится...

— Лататы, значит, задать...

— Да...

Гурин отправился в свой чум, небольшой, сбитый из досок шалашик, где у него после перемещения из конторы стояли колченогая кровать, стол да чурбан, заменявший стул. Тут он вынул из-под кошмы, служившей постелью, лист бумаги, чернильницу, перо и начал выводить строчку за строчкой. Дописав бумагу и перечитав написанное, он, крадучись, пробрался к дому управляющего и через открытое окно бросил в комнату, занимаемую Анзаровым, свое послание.

Между тем Сунгуров, добежав домой и хватив для своего успокоения несколько рюмок водки, приказал конюху оседлать лошадь и тотчас же ехать к Ястребову с докладом о происшедшем бунте. Когда конюх уехал, Александр Иванович, не веривший в свою безопасность, забился на чердак, где думал пробыть до возвращения начальства...

Получив неожиданную новость, Лука Иринархович и Анзаров поспешили на прииск.

— Mais cela devient grave! — воскликнул последний. — La chose n'est pas si simple qu'elle en a l'air? — При этом он вопросительно взглянул на Ястребова.

Тот не ответил, и они в молчании проехали всю дорогу. Как завиделась Константиновка, Анзаров принял на себя важный и торжественный вид; он предполагал тотчас наткнуться на толпу бунтующих рабочих и считал поэтому необходимым явиться к ним с возможно большим блеском: он вырастал в своих собственных глазах, словно ему предстоял достолавный подвиг. Ожидание усилилось, когда в стороне слышалась песня, имевшая несколько либеральный характер. Человек шесть рабочих звучно горланили:

*Как ударит часов пять —  
На работу мы опять,  
Частный кличет и кричит,*

*Своей палочкой грозит:  
Кто не явится на зов,  
Тому ею сто лозов...  
На бергамте в перекличку  
Все собираются в отличку,  
Перекличку отведут —  
По работам поведут:  
Того в шахту, того в гору,  
А того к зелено бору —  
Иль деревья ожигать,  
Или воду отливать.  
Как урок мы кончим свой,  
Всех отпустят нас домой;  
Мы по улице пойдём —  
Громко песню запоем,  
Как начальство любит нас,  
Как начальство дует нас.*

— Эге, вот оно что?!

Однако, к великому сожалению Анзарова, когда они въехали на промысел, никакой толпы там не встретилось; все было мирно, как будто ничего особенного и не происходило.

— Mais l'emeute ou est—elle don? — обратился он к Ястребову.

— Не знаю, спросим у Сунгурова, — ответил последний.

Сунгуров появился к начальству не ранее получаса. Напрасно уговаривала его Лизавета Михайловна и утверждала, что все рабочие молчат, и что Ястребов его требует, он не сразу решился выйти из своей засады и не с обычною важностью дошел до квартиры управляющего.

— Ты что наврал? — строго спросил Ястребов.

— Как угодно-с — бунтовали! — возразил Александр Иванович, который под крылышком начальства считал себя безопасным и становился храбрее. — Чуть до смерти не избил.

— Кто же бунтовал?

— Все.

— Чего же теперь сидят смиренно?

— Убить хотели — не то что бунтовали...

«Пусть бы убили!» — невольно подумал Лука Ирнархович.

В это время вошел в комнату Анзаров, державший в руках бумагу.

— Тут, топ снег, в самом деле было что-то страшное: я только вошел к себе — нахожу послание... Полюбопытствуй прочесть.

Ястребов прочел следующее:

«Ваше высокоблагородие! Вы присланы от начальства удостовериться — был ли справедлив присланный донос, но той манерой, какую изволите производить ревизию, сделать ничего не сделаешь, а только милостивое начальство в заблуждение введешь, потому что рабочие не спрошены и жалобы их и неудовольствия никем не выслушаны. А не угодно ли вашему высокоблагородию опросить рабочих — хоть насчет того, за что был ими бунт учинен; тогда по ответам их ваше высокоблагородие сможет убедиться, что правда и что неправда в доносе. Донос же весь писан по справедливости, потому что на приiske Константиновском не только «господином управляющим, но и их подчиненным Сунгуровым суший разбой учиняется».

— Так вот где доносчик! — проговорил Ястребов, прочитав бумагу. — Теперь понимаю... Позвать мне конюхов!

Сунгуров мигом исполнил приказание.

— *Ole penses—tu faire?* — спросил Анзаров.

— Дай два часа времени — увидишь, — ответил Ястребов и вместе с конюхами отправился в клетушку Гурина. Того не было дома. По приказанию начальника, конюха обыскали все помещение, и из под кошмы вынули целую грудку бумаг, исписанных прозой и стихами.



## ДВЕ СМЕРТИ

Все рабочие были собраны на площадке около дома

управляющего; лица их были сумрачны; в толпе шел глухой ропот.

— Это что за урус такой? — спрашивали рабочие друг друга.

— А, должно, фитанец на спине учнут нам прописывать, — сострил кто-то из них.

— Нишкни, дурье! — сердито ответили ему, — а не то с тобою такие имальцы сыграют, что и моржанами сидню-то цветить не понадобится...

Ровно в полдень вышли Ястребов с Анзаровым, и вслед за ними Сунгуров; минуты через три конюхи привели скованного Гурина. Ястребов вынул из кармана два листа писаной бумаги.

— Это твое писанье? — обратился он к Гурину.

Тот не отвечал.

— Тебя спрашивают или нет?

— Мое...

— Ты донос послал?

— Я...

— И стихи ты писал об «Отче наш»?

— Я...

По знаку Ястребова конюхи растянули Гурина на землю, тот простонал.

— Пока ты не съешь все эти листы — пороть будут тебя, — медленно, слово за словом, отчеканил управляющий.

— Лука Иринархович! — хватаящим за душу голосом проговорил распростертый Гурин. — Вы меня уже совсем загубили, из человека зверем последним сделали. Не губите больше! Простите меня! Я больше никогда не буду... что меня еще мучить?!

— Торговаться со мною вздумал?... Нет, ешь... Вы чего зеваете! — крикнул Ястребов на конюхов.

Розги взвизгнули; нещадно с двух сторон стегали Гурина дюжие рабочие... Судорожно рыдая, изнемогая от боли, смачивая бумагу своими слезами, ел несчастный исписанные им листы; целыми комками глотал он их, чтобы скорее кончилась мука... Анзаров не был в силах вынести эту сцену.

— Finissez donc, finissez! C'est impitoyable! — обратился он к Ястребову.

— C'est mon affaire, c'est moi qui suis responsable. Si vos nerfs ne vous permettent pas de rester, faites comme bon vous semble...

Анзаров молча повернулся и отошел.

Минут через пятнадцать Гурин не кричал уже и не стонал; кучи изжеванной, но не проглоченной бумаги лежали у его рта, из которого начала истекать кровь.

Ястребов крикнул:

— Довольно!

— Всем вам будет то же, — обратился он к рабочим, — если кто хоть пикнуть осмелится, слышите?

По-прежнему спокойно пошел он в свою квартиру; трудно было определить его душевное состояние, так как там ожидал его Анзаров, растревоженный и чуть не плачущий.

— Боже мой! Лука Иринархович, — обратился он к Ястребову, — можно ли допускать подобного рода вещи? Есть ли у вас сердце после этого?

— Вы, Анзаров, право, слишком молоды, чтобы судить спокойно, как следует практическому человеку... Жизнь дорога вам или нет?

— Как это? К чему вопросы?

— А к тому, что если бы не пострадал один мерзавец, то, может статься, сегодня же ночью меня с вами не было бы на свете, да потом с остальными рабочими другим пришлось бы расправляться еще пожестче. Если раз дошло до бунта, то или надо безжалостно вырвать его корни, или добровольно подчиниться его естественным последствиям, вы что предпочитаете?

— Разве опасность была так велика? Все, напротив, было, по моему мнению, спокойно...

— Поживете на приисках — узнаете... И я и вы были бы, наверное, зарезаны; тот самый страдалец, о судьбе которого вы сожалели, первый пырнул бы вас ножом в бок... Вы знаете этого человека, с которым я обошелся так круто?

— Нет...

— А я знаю!

— Но однако... он человек же... притом же учившийся...

— За покушение ударить меня он разжалован из урядников, переведен в разряд штрафных, высечен — разве он исправился?

— Рецидивист...

— Именно... Вы, Анзаров, пожалуй, можете также удивиться: почему я все сделал перед вашими глазами, а не тайком. Отвечу: во-первых, потому, что это было необходимо, а во-вторых, потому, что вы сами наполо-

вину виноваты во всей истории, — разумеется, не сознательно, а по неопытности.

— Я? Я виноват? — изумленно прошептал Анзаров.

— Да, вы! Вы взглянули на ревизию слишком легко, вы не сочли нужным даже поговорить с рабочими; вам нужно было действовать совершенно иначе: по крайней мере, с виду показаться строгим и исполнить формальности... Предположим теперь, что вы захотели бы довести начальнику заводов, — вы не можете, потому что...

— Да, я доносить вовсе не думаю... и... я... только так заговорил...

— Я вам дал урок, который пригодится в будущем.

— Я... я...

Анзаров не договорил, потому что при последнем слове влетевшая в окно пуля ударила его прямо в висок. Кровь широкою волною разом брызнула из отверстия, Анзаров тут же рухнул, как сноп, Ястребов побледнел...

В шагах полтораста от дому, за деревом, прислонившись к нему, стояли два человека: едва живой Гурин с ружьем и Фролов.

— Что, попал? — чуть слышным голосом спросил первый.

— Еще не видать, — отвечал Фролов. — Батюшки! — закричал он через несколько секунд. — Никола Петрович! Говорил я тебе — дай я стрельну... Ты, кажись, левизора убил, а управляющий — смотри — на крыльцо выскочил...

— Господи, прости! — простонал Гурин, опустившись в изнеможении на землю. — Не его хотел я покончить, не он мой изверг... Ну, Фролов, беги теперь... Я все равно умру... Вот коли Оля родит — так ребенка-то унеси куда-нибудь... слышишь?

— Слышу, Никола Петрович...

— Исполнишь?

— Как не исполнить? Исполню...

Гурин закрыл глаза; а Фролов, поклонившись на четыре стороны, скрылся в таежной чаще...







## ПРОДАННАЯ ДОЧЬ

Видно, крепкого телосложения была Соня, потому что, несмотря на постигшее ее несчастье, оправилась скорее, чем можно было предполагать. Снова на щеках ее заиграл бледный румянец, в глазах появилась жизнь; Соня даже несколько пополнила; словом, на ней отразилось преобразование девушки-ребенка в женщину... Но внешнее спокойствие и благополучие далеко не соответствовали ее внутренней боли, неизлечимому нравственному страданию: все происшедшее пригнетло ее душу. Оправившись, она еще долго ходила как бы в тумане и то верила, то не хотела верить происшедшему с нею... Впрочем, сознание взяло верх над капризами воображения, и тогда Соня увидела, что над нею совершенно какое-то насилие, долженствующее положить глубокую печать на все ее будущее существование. Бывали, вследствие этого, минуты, когда она всем сердцем ненавидела отца, участие которого в преступлении над нею было ясно и неоспоримо. Но всю силу поразившего ее несчастья она стала понимать позже, когда пришлось думать о той преграде, что, помимо ее воли, была поставлена между нею и другими людьми. Из разговоров с матерью, из чтения и из собственного размышления она не могла не вывести заключения, что не всегда же люди проводят всю свою жизнь так, как она проводила ее до сих пор, что должно настать для нее когда-нибудь время войти в общество подобных себе, сердцем отозваться на голос другого сердца. Как ни держал ее взаперти Васи-

лий Максимович, как ни отстранял он влияние посторонних, но не мог же он уничтожить в ней того, что, обыкновенно, называют человеческим и женственным... А вот — все надежды были подкошены в корне, цветы ожидаемой радости поблекли, не распустившись еще!.. Связь с миром была пасильно порвана, так как врожденная честность подсказывала Соне, что не может она теперь связать свою судьбу с судьбою другого человека, и обмануть этого человека нельзя, и рассказать ему то, что было, невозможно. Обстановка, в которой росла Соня, имела на эту думу особенное влияние. Попади Соня в общий водоворот жизни, воспитайся она в среде с извращенными понятиями о взаимных отношениях людей между собой, свыкнись она со всякого рода сделками с совестью — тогда, конечно, взгляд ее на общественное ее положение был бы совершенно иной. Но, всегда откровенная, не знакомая с ложью и похождениями подруг, как вышедших замуж, так и покучивавших в девушках, она смотрела на обязанности женщины с прямою дитяти, она не допускала уступок и инстинктивно была тем, чем должна быть честная женщина. Ее думы приходили не потому, чтобы она подводила свое существование под какие-либо рамки, под общепринятые нормы, не потому, чтобы она действовала ради извне внушенного убеждения, а потому, что она мыслила без фокусов, по законам чистой логики, прямо изливающейся из законов человеческой природы. Своеобразный мир идей, в котором она ознакомилась случаем, мало-помалу сживался с нею, с каждым днем глубже и глубже проникал в ее душу. Вследствие этого, с каждым же днем мучительнее становилась тоска Сони, и в этот хаос, в эту тьму не проникал светлый луч утешения, сочувствия, оправдания. Все, что кипело в груди и в уме, не имея возможности вылиться наружу, там и оседало. Отец, всегда стоявший от нее далеко, отошел еще дальше. Он, чувствуя свою вину, не решался даже взглянуть на Соню, которая прежде хоть изредка замечала в его глазах, когда он обращался к ней, искру любви. Как дочери было тяжело присутствие отца, так, равно, отцу была тягостна встреча с им погубленной дочерью. Сама того не замечая, Соня не оставалась уже с отцом, уединилась от всех и стала какой-то раздражительною. Когда месяц спустя она начала чувствовать тошноту, головокружение, род физического изнеможения, то она вообразила, что заболела серьезно, и с недоброю радостью

ожидала своего конца. Ей казалось, что чем скорее придет желанная смерть, тем лучше будет: сама избавится от мук, да и для других не явится вечным укором. Конец, однако, не приходил: болезненные припадки были только признаками беременности; Соня их не понимала, но опытный взгляд Василия Максимовича скоро подметил печальную действительность... Переченко содрогнулся. Несколько предположений было построено им, чтобы избавить Соню от позора... Василий Максимович преимущественно останавливался на мысли отправить дочь куда-нибудь в деревню, где бы незаметно прошло время беременности; но, с одной стороны, он не находил места, куда можно скрыться, а с другой — он сознавал, что отъезд Сони из Ковальска не укроется от разговоров и сплетен... Он все раздумывал, и время уходило.

Наконец и Соня поняла положение, в котором она была. Когда ребенок шевельнулся, целый рой прежде не приходивших дум зареял перед нею: будет же в Божьем мире бедное существо, соединенное и с нею неразрывными связями; будет и для нее предмет ласк, забот; будет и для нее возможность забыть из-за кого-нибудь свое несчастье. Честное материнское сердце вообще оживает при первом трепете дитяти; любовь к ребенку вообще чувство слишком могучее, слишком необходимое, но сердце женщины в положении Сони способнее других отдаться всецело маленькому существу, у которого нет защиты, нет законного места на пиру жизни. Соня не знала, как придется ей обходиться с ребенком; она не приготавливала для него необходимых или излишних тряпок, но она постоянно думала, как будет любить свое дитя! То, в чем блудница видела бы свое горе, свое глубочайшее несчастье, в том Соня справедливо предполагала найти единственное утешение, единственную задачу жизни. Можно сказать даже, что новое чувство, явившееся в ней, искупало отчасти в ее глазах вину других людей, отнесшихся к ней так несправедливо и бессердечно. Если после момента движения ребенка она и относилась еще к своему отцу с отчужденностью и холодностью, то в ее душе уже не было прежде вспыхивавшей ненависти. Переченко, не знавший того, что происходило в душе дочери, заметив эту перемену в обращении Сони, удивлялся ей и объяснял ее по-своему. Так как он предполагал, что случившееся с Соней — дело житейское, поправимое и что есть на свете немало других девушек, которые смотрят на подобные вещи без

особенного ужаса, то он отнес и перемену в обращении дочери к этому источнику равнодушия. Вследствие этого, он и сам примирился со своим поступком и закрывал глаза перед его результатами. Пропасть казалась не такую опасною, выход из нее казался возможным, даже не особенно трудным. Мало-помалу снова установились встречи за обедом и за чаем. Правда, невеселы были эти встречи, натянуты, но при них уже не чувствовалась та разрозненность, что царила вначале. Возвратившийся из Ирбита Зубов доставил Переченко новое развлечение: операции оказались удачнее, чем предполагались.

С какой радостью отнес Переченко деньги Хлютикову! Он почувствовал, что гора свалилась с его плеч, когда была сосчитана последняя пачка кредитных билетов.

— Как здоровье Софьи Васильевны? — ухмыляясь, спросил при этом Яков Аристархович.

Если бы Василий Максимович мог всадить в глотку Хлютикову всю кипу ассигнаций, бывших перед ним, и таким образом безнаказанно задушить Якова Аристарховича, то он сделал бы это с величайшим наслаждением; но тут он только схватил закладную и поскорее выбрался вон из дому своего врага.

— Что делать мне теперь? — спрашивал он себя, очутившись в своем кабинете. — Не уехать ли куда-нибудь?...

Снова, вереница за вереницей, шли мысли, предположения и расчеты; одна идея порождала другую; отвергнутый проект создавал новый; пачки скопленных денег были не раз пересчитаны. Но так как обстоятельства усложнились, так как места не предвиделось, так как беременность Сони все ближе и ближе подходила к концу, то Переченко довольствовался одними предположениями, не осуществляя их. То думал он, что дело еще терпит, то сомневался — не прошла ли уже пора действовать. Хотя перешительность не была сутью характера Василия Максимовича, но у последнего не было и фантастической возможности сделать выбор без колебаний. Впрочем, прибыль, полученная Переченко от операции, стоившей ему нравственно так дорого, прибавила в его глазах сумму оправдывающих причин преступления над Соней.

— Умру — с собой не возьму, все ей же останется! — подумывал он несколько раз.

И вот однажды, под влиянием этой мысли, Василий Максимович удержал дочь при себе на целый вечер...

Сперва длилось неловкое, томительное молчание; потом — слово за словом — отец начал высчитывать Соне те средства, которые достанутся ей после его смерти.

— На целый твой век хватит, — сказал он. — Если что и случилось, то другие не знают... так ты на отца не дуйся... Мало ли что случается!

Соня окинула отца испытующим взглядом.

— Я, может, и не хотел этого, — тихо продолжал Переченко, — это воля Божья... Найдется человек — женится — тогда на всякий роток ты накинешь платок.

— Что, батюшка, толковать об этом, — ответила Соня, — что было — того не воротить...

— Ну, я толковать не буду, только станем мы жить по-прежнему... Мне ведь тоже, думаешь, хорошо?.. Может, и в моей жизни всякой беды было немало...

Соня тихо встала и пошла.

Переченко видел, что сделала она это не по злобе, и не удерживал ее... Соня, действительно, поняла слова своего отца в далеко лучшем смысле, чем они были высказаны: там, где у него был только расчет, она видела сознание; где было равнодушие, там ей виделась печаль; в тех же словах, где печаль звучала неподдельно, она слышала глубокое горе.

«Что ж, — подумала она, — не зверь же он... Может статься, ему нельзя сделать иначе... Может статься, наконец, что жизнь в будущем пройдет хорошо... Ни за кого, правда, я не выйду, но ведь у меня будет ребенок, в котором я все найду... Если родится девочка — пусть она походит на покойницу-матушку... Если родится мальчуган — пусть он будет такой же хороший, добрый, как дядя Женя... Отец...»

Но кто отец?

Образ его носился перед Соней неясно, неопределенно: в полутьме вошел к ней какой-то человек — неведомо зачем. Что говорил этот человек с нею, что было потом, как он ушел — память Сони плохо запечатлела. Так как, собственно, о существовании Хлютикова Соня не знала, расспросить о нем позже не было возможности, то загадка осталась загадкой. Однако невольно задавала себе Соня вопрос: почему же это случилось так, а не иначе? Разве не было возможности жениться на пей? Почему отец не защитил? Но и на это не имелось ответа, разве кроме тех слов Переченко, в которых просвечивалась вынужденность его участия...

Последний кризис, хоть его и было необходимо пред-

видеть, пришел словно неожиданность какая для Василия Максимовича. Он вернулся из казначейства, видел, что Соне нездоровится, заметил ее бледность, беспокойство, но не придавал им значения... Лучше сказать, он все оставил на волю судьбы: пусть будет, что будет, так как все, что необходимо было сделать, требовало присутствия посторонних лиц, а именно этого присутствия он избегал прежде всего, потому что не желал огласки... Он даже охотно угнал бы со двора Олимпиаду и Михайлу...

Ночью Соне сделалось совсем худо; Переченко зашел в ее комнату и словно хотел отдалить роковую минуту разговорами... К утру стало уже не до разговоров. Бедная Соня в иступлении начала метаться и кричать... Потеряв при этих криках всякую мысль, Василий Максимович сидел истуканом, машинально повторяя слова какой-то молитвы...

Несмотря на полную оставленность и беспомощность, Сеня перенесла кризис благополучно, и чуть свет ребенок испустил первый крик, возвративший Переченку часть его сознания. Он увидел необходимость сделать что-нибудь; нельзя бросить мать и ребенка; нужно, наконец, спрятать последнего. Тут Василий Максимович отбросил все свои нелепые предосторожности, позвал Олимпиаду для помощи Соне, и сам отыскал корзину, набросал в нее тряпок, положил туда ребенка и, вышедши в свой кабинет, кликнул работника.

— Я, брат, все знаю про тебя, — обратился он к последнему, — не Михайло ты, а Алешка; не крестьянин, а фабричный; не из-под Кишинева, а из Ярославля; могу я тебя погубить... Но возьми ты этого ребенка, куда хочешь спрячь, куда хочешь занеси, чтоб и следу его не было, — и все то, что я знаю, так и пропадет с ним... да вот тебе еще сто рублей...

Работник посмотрел на хозяина, на ребенка в корзине, усмехнулся и, почесав затылок, ответил:

— Сто маловато, Василий Максимович... не такое, значит, дело это... уж положите двести рубликов.

— А чтоб тебя распятали! — не удержавшись, крикнул Переченко.

— Что ругаться — я по совести спрашиваю. Двести рублей не дадите — прячьте, как сами знаете... коли я не нужен, что и спрашивать меня. А мой сказ — двести.

Василий Максимович, боясь потерять время и видя, что с Михайлой ничего не поделаешь, вынул двести руб-

лей, передал одной рукой деньги работнику, а другой корзинку.

— Скорее же, анафема! — крикнул он и толкнул Михайлу в дверь...

---

На Т-ми трещал мороз... Был февраль 1839 г.

Над прорубью стоял Михайло с корзиной.

— Куда деваешь боль? — раздумывал он, перекрестился, бросил корзину в ледяное отверстие и пустился бегом прочь...

Эту корзину и нашел казак Сидоров.



## СИЛА И СОЛОМА

Домишко Луки Ивановича Сидорова стоял над самою кручею, неподалеку от спуска на реку. Он был неказист и довольно ветх; но зимой нередко около него шло большое веселье: ребятишки собирались сюда кататься с горы на салазках, а старухи и старики приходили поглазеть на проказы подростков, потолковать в это время между собою да полюбоваться хоть давно знакомою, но постоянно своеобразно-милою картиною, открывавшеюся взору. Прямо под ледяной корою в несколько оборотов извивалась река, кое-где перехваченная выдававшимися островами, покрытыми кустарниками; за рекою шла красивая поляна, ограничиваемая довольно высокими пригорками, уходя за которые, солнце окра-



шивало верхушки пурпуром и золотом. Сперва крутой обрыв представлял уступ, закрывавший соседний поселок Монастырщину; налево виднелся большой лес, переходивший мало-помалу в тайгу. Вся картина рисовалась крупными черными пятнами на белом снежном фоне, и пятна эти были расположены так красиво, что холодный зимний вид имел неоспоримую прелесть.

Погода после жестоких морозов сдала; в воздухе потеплело; народ, сидевший взаперти, ожил и расползся.

Сидориха и ее соседи были на улице и толковали о найденном Лукою Ивановичем ребенке, когда к ним подошел дежурный полицейский и объявил приказание городничего — согнать всех девушек в полицию на осмотр.

— Что ты, что ты, шашь этакая! Что выдумал! Кто пойдет?

— Не пойдешь — волоком приволочут, — ответил вестник неверившим слушателям и пошел далее.

— Ох, слышать-то это я слышала, да сказать боялась... — повела речь Сургутаниха, когда собеседники стали горячо толковать о невозможности поголовного осмотра. Письмоводитель это нашему натурисил, а тот вот и починает гвоздить.

— Да, как же это, — зашепелявила Сидориха, — без того, без сего, а девушку в полицию тащи?

— Тащи, родная моя, тащи.

— А если у кого полюбовник в кои веки был — а тут перед всеми сором иметь?

— Иметь, мать моя, иметь.

— Так над ними и кочевряжиться? Ну нет! Галиться не для ча. Глаздырю какому в хайло попасть, на брылах его анафемских торчать — так это всякий закупорится...

— И впрямь, родная, — туда же завопила Бехтенева, — там когда что поделалось, а тут на ростань ступай, на дубу здесь робь, чтоб всякая стынь заталантила... этак извредить всякому можно!

— Да кто смотреть будет: кошеварка что ль?

— Кто их разберет, пятная их! Чать знаешь: наш-то ухорес какой...

— Небось, с чиновниками схлюздит.

— От них, дело известное, отшарахнется...

— Что? — завопила пуще прежнего Сидориха. — Так значит, на нас, на наших девок тарабанить?

— Перед своим братом обыкновенно не затопорщится.

— Повидаем! Повидаем!

Шум по этому поводу вскоре слышался во всех концах Ковальска; слова: **осмотр, девок сгоняют** — переходили из уст в уста, возбуждая жалобы, спор и ругань. Те из граждан, которые не имели взрослых дочерей, рассуждали хладнокровно и втайне одобряли даже крутую меру Александра Ивановича. Нельзя же, в самом деле, оставлять такое вопиющее дело без наказания: кто в деле — тот пусть и в ответе будет; кто способен убить ребенка — тот совершенно свободно поднимет уже окровавленную руку и на взрослого. Нет, худую траву из поля вон!.. Притом чиновники, даже и имевшие дочерей, не ожидая для себя неприятных последствий, не могли горячиться, так как хорошо понимали, что Андрей Иванович измыслил осмотр, конечно, с целью более практической, чем служение слепой Фемиде. Федор Вервикин, узнав, что ему как доктору предстоит быть участником в деле, напился, словно пономарь на поминках. Не менее обрадовались не глаздыри, т. е. молокососы, а некоторые мужи и старцы — вроде человека с наклонностями к изящному и прекрасному, Якова Аристарховича Хлютикова, который обратился к доктору с просьбою: буде возможно — поместить его в соседней к осмотру комнате, где бы щель какая была.

— Смерть люблю хорошие вещи смотреть! — пояснил он.

К великому удивлению письмоводителя, с такой же просьбой обратился к нему почтмейстер, в котором, казалось, не могло существовать хлютиковских поползновений. Это был необъятный толстяк громадного роста, заботившийся единственно об удовлетворении своего неизмеримого аппетита. В базарные дни выходил он на торговую площадь и, бродя от воза к возу, пробуя где хлеб, где вяленую рыбу, где капусту и сарану, нажирался даром и, самодовольный, отправлялся в почтовую контору. Тут, аккуратно отправив послания чиновников, он преспокойно и систематически вынимал из писем на имя солдат небольшие гроши, скопленные родичами последних, а самые письма выбрасывал в чулан, где после его смерти нашли немалую грудку их. В летние жары он уходил в погреб, где раздевался донага и закапывался в мокрый песок: другого способа переносить жар он не ведал.

На просьбу почтмейстера письмоводитель сторонкою ответил, что, вероятно, осмотра, собственно, не будет, а только, формы ради, порасспросить некоторых.

— Смотреть нечего...

— Напрасно, напрасно! — проревел мастодонт, — а то я стряпчего хотел подбить: то он в щель глянул бы, то я посмотрел бы... Такого случая в целый век не найдешь.

— А жена-то? — подмигивая, спросил письмоводитель.

— Что жена! Хариус; а тут муксунчики бы были, караси в сметане!

Купцы, мещане и казаки, у которых существовали целые плеяды Аришек, Грушек, Варек, Сашек и Степанид, глядели на дело иначе и бунтовались основательно и от чистого сердца, но дело состоялось.

В день, назначенный для осмотра, в Ковальске поднялся словно вопль какой; около сорока женщин потянулись к полицейскому управлению, некоторые девушки рыдали и причитывали, при других голосили и их матери. Все они столпились в небольшой темной и грязной полицейской прихожей. К ним вышел письмоводитель с списком в руках.

— Прасковья Сидорова! — возгласил он.

— Здесь! — плаксиво ответила одна из девушек.

— Ступай на присутствие...

— Я, ваше бродие, позволить это никак не могу! — завывала Сидориha, выступая перед дочерью.

Все встrepенулись.

«Авось отстоит!» — невольно педумала каждая.

Минута была критическая; письмоводитель понял, что, спасуй он, шутка выйдет плохая; поэтому, не произнеся и единого слова, он взял Сидориxу за шиворот тупла и с размаху толкнул ее в дверь, которую тотчас же и захлопнул за вылетевшею матерью... Присутствующие понурили головы, сжались, и одинокая девушка покорно поплелась за письмоводителем.

В узкой комнате, в два света, стоял небольшой столик, покрытый красным сукном, на нем не особенно красивое зеркало с какою-то фигурою наверху, напоминавшею больше сусальный пряник, чем двуглавого орла; столик в углу для письмоводителя и несколько стульев составляли остальную мебель.

Перед зеркалом сидел Федор Федорович, окруженный бумагами и анатомическими инструментами, яркий

блеск которых и свежесть достаточно свидетельствовали о необычайно редком употреблении их в дело.

Доктор оглянул вошедшую и, видимо, нашел ее непривлекательною, недостойною его внимания.

— Ты, рыло! — начал он с нею свою речь...

— Нет-с, никогда: видит Бог, никогда!

— Что никогда?

— Ничего не рыла... я ни в чем не виновата.

Доктор нашел *qui pro quo* очень забавным.

— Ты знаешь, зачем тебя призвали сюда?

Девушка покраснела и промолчала.

— Свидетельствовать — вот этими инструментами...

Дай-ка руку сперва.

Прасковья со страхом выдвинула руку вперед; в двух-трех местах на пальцах оказались свежие царапины. Федор Федорович при этом виде проворно вынул из коробочки кусок ляпису, намочил его и провел по царапине.

— Ой тошно мне! — взвизгнула девушка, так что крик был слышен в передней, где при этом все стоявшие пугливо перекрестились.

— Что, не нравится?

— Ваше высокобродие. Помилуйте! — рыдая, шептала Прасковья, которой представились всякого рода страхи.

— Помилую — что дашь?

— К маменьке сбегая — принесу...

— Десять рублей... Только живо бегай! Одна нога там — другая здесь!

Девушка вылетела мигом и в передней на обращенные к ней со всех сторон вопросы едва ответила, что доктор денег просит.

После этого объявления публики, видимо, успокоилась, как тараканы, разбежались жертвы по домам заpastись деньгами и потом входили в присутствие. Федор Федорович торжественно оглядывал каждую, не дотрагиваясь до нее и, получив десять рублей не только бумажками, но и медью, высылал вон. С дочерей купцов и более богатых обывателей доктор, по указанию письмоводителя, не довольствовался десятью рублями, а требовал по четвертной и более... Когда осмотр окончился, было собрано около четырехсот рублей.

— *Dividemus!* — возгласил письмоводитель, любовно созерцавший деньги.

Доктор не менее любовно стал их пересчитывать

— Пополам? — спросил он.

— Нет, Федор Федорович, Андрею Ивановичу обидно будет: ведь все дело зависит от их разума...

— А я-то что? У пса пятая нога, так по-твоему?

— Нет, Федор Федорович, зачем? Каждому по делам его.

— Без меня что бы вы сделали?

— С акушеркой можно бы, и по справедливости, пожалуй, с нею было бы правильнее... Но и вас, Федор Федорович, Андрей Иванович обойти не пожелали; так, стало, по писанию, — иная слава солнцу, иная слава луне, а иная звездам небесным!..

— А тебе что?

— Да я, Федор Федорович, не pro domo suo речь веду, а (так сказать), zelo zelatus sum pro domino exercituum: творю волю пославшего мя.

— Да он там всю пашню жнет...

— Это, Федор Федорович, прародительница надвое возблаговестила, ибо не каждого поросю претворишь в карася... Времена, Федор Федорович, трудны: дух суетумудрия и гордыни обуревают мужей строптивых и непокорных. Вот коли б собственную десницу в дело и я не пустил, то...

Доктор поморщился, однако удовольствовался третьей частью.

А Андрей Иванович, в самом деле, жал в это время свою пашню: на маленьких пошевнях ездил он из дома в дом с городской повивальной бабкою, которой дал предварительно строгое наставление не выходить из его воли. Прежде всего побывал он у отца-протопопа, дочь которого, девочка лет четырнадцати, отличалась необыкновенною бойкостью; о ней очень рано прошли нехвальные слухи, свою матушку-протопопицу она и в грош не ставила. Но городничий ни к какому осмотру тут не приступил, он посидел, шаркнул водки, закусил, поболтал и, испросив благословения, хотел отправиться далее. Однако несколько замешкался в сених: там его поджидала поповская дочка.

— Что ж, Андрей Иванович, вы меня не посвидетельствовали? — с пахальным заигрыванием обратилась она к городничему.

— У-у, быстроглазая!

— Мне, право, обидно: другим честь, а мне бесчестье... а посмотрели бы, как сложена я! Получше вашей Катерины Сергеевны...

— Экой дьяволенок какой!

В других местах Андрей Иванович, точно, не был так разборчив и прямо заявлял родителю или родительнице о причине своего посещения.

— Как же это так, батюшка Андрей Иванович?

— Знаете, порядок соблюдаю, чтобы подлый народ не гадел, а то ведь, каналы, сейчас в разговор пустятся.

— Все неловко...

— И полноте! Я к отцу протопопу заезжал, и тот пред законом преклонился.

Можно сказать вообще, что жатва оказалась не особенно обильною, но так как, по пословице, «дареному кошку в зубы не смотрят», то городничий и ею был доволен, тем более что все сошло тихо, без серьезного сопротивления. Он уже оканчивал свой осмотр, не был только у казначея да у Зубова, а жалоб не слышал. Правда, Сидориха, припоминая сделанный ей афронт, тараторила по соседским дворам.

— В кортому, что ли, они нас получили? — вопияла она... — Кружить как вздумали... Этак всякую кокору скрючить... этак барантить — и обтрескаться невдолге... Словно варнаки обтаращивают — и на обутки не остается.

Но, во-первых, ее вопль не находил живого эха, а во-вторых, Андрей Иванович его не слышал.



## ОДНИМ МЕНЬШЕ

Михайло, после данного ему Василием Максимовичем поручения, вернулся домой поздно вечером и ока-

зался положительно пьян. Переченко несколько раз звал его через стряпку.

— Не пойду, — отвечал Михайло, — я свое дело сделал; чего ему еще нужно?.. Я теперь гулять хочу! И так уже сколько годов пост держал, в монашестве жисть проводил.

Так как Василий Максимович не мог не интересоваться исходом поручения, то сам отправился в кухню. Кроме Михайлы, тут не было никого; стряпка, не желая слушать несмолкавшие ругательства пьяного работника, сидела за чулком в комнате Сони. Когда Переченко вошел, Михайло лежал, растянувшись, на столе и при появлении хозяина не подумал приподняться.

— Ты что, болван, лежишь? — спросил казначей.

— На болванов татаришки Богу молятся, а на меня, чай, вы молитесь не изволите, так я не болван, значит! — ответил работник.

— Да ты пьян?

— Вы не угостили...

— Протри, анафема, зеньки свои: ты с кем говоришь?

— А известно с кем. С его благородием, батюшкой Василием Максимовичем.

— Так разве не можешь привстать?

— Зачем привставать, коли я в покое быть хочу? Теперь, ваше благородие, насчет команды — шабаш!

— У, черт! — прикрикнул Переченко. — Куда ребенка девал?

— Да там, где был, его, голубчика, нет уже... Будьте покойны, Василий Максимыч, — нет его...

— Отдал кому?

— Кому отдал... отдавать некому...

— Что же ты с ним сделал, что?

Михайло приподнялся и уставил на Переченко мутные полубезумные глаза...

— В прорубь бросил... Сказано было — схоронить, я и схоронил.

Переченко зашатался и только с особенным усилием вышел из кухни.

— Небось, испужался! — повел Михайло речь к самому себе... — Нет, брат, я тебя теперь пройму... Теперь, Алеша, гуляй!.. Жалко манинького было бросать — зато теперь на все стороны ступай. А жалко, ей-Богу, жалко! Может, жил бы не тужил...

Михайло не чувствительно, мало-помалу, расплакал-

ся. Ему вдруг повиделся ребенок в корзине, почудился тихий крик дитяти, и с каждой минутой ему становилось страшней и страшней. Тишина и темнота кухни на него наводили непонятный ужас. Трусливо выплелся он на улицу, оставив дверь кухни отворенной, завернул в один кабак, потом в другой; и в том, и в другом он пил горькую; но, несмотря на это, хмель отбивал у него память ненадолго: несколько минут тяжелого забытья снова давали уму возможность воспоминания, и снова чудился ребенок, снова слышался его слабый крик, снова ужас охватывал Михайлу. Ему не сиделось нигде. Ночь начинала уже входить в свои права, темная, зимняя, морозная ночь. Михайло добрался до солдатской слободки. Идя на огонь, он попал в кабак Пафнутьича.

Пафнутьич — мужик ловкий, он всегда умел ловить рыбу в мутной воде. По гульбе Михайлы он понял, что его гость — гость хороший, которым дорожить следует, что гость этот сорвался после долгого поста и пьет не на медные гроши.

— Али от казначея отошел, милый человек? — спросил он Михайлу.

Пафнутьич мигом послал за музыкантом, каким-то ссыльным скрипачом, за двумя-тремя своими приятелями и за Буланихой. Первые явились тотчас, и в их компании Михайло повеселел, почувствовал себя свободнее от пригнетавшего его страха. Буланиха сначала не хотела идти в кабак, но так как Пафнутьич от времени до времени одолжал ей небольшие деньги, то, при повторном приглашении, она прифрантилась и явилась на место гульбы, где тотчас заняла самую видную роль. Михайло любезничал с нею, совсем оправился и потребовал самой лучшей наливки.

— Ты, значит, душа-человек, — говорил он ей, — это я люблю: баба-табак — ходишь в кабак!

Веселье пошло самое бесшабашное. Старая фабричная удаль и повое запиваемое преступление возбуждали казначейского работника на всякие безобразия, он пил, бил посуду, рвал платье Буланихи и выбрасывал ей за это ассигнации, жег деньги — словом, не знал, чем бы удовлетворить свое сердце. Наконец, ставши перед Пафнутьичем, сохранившим свое благоразумие, вынул пачку ассигнаций.

— Милый человек, — обратился он к кабатчику, — вот, бери сколько хочешь, дай только тебе по зубам съездить, дай — сделай одолжение, в жисть не забуду!



Не успел Пафнутьич разинуть рот для ответа, как Михайло ударил его со всего размаху: двумя зубами у кабатчика стало меньше.

Пафнутьич взвыл, все присмирели.

— Аль ловко съездил? — дико захохотав, спросил Михайло и, растянувшись на лавке, незаметно уснул.

— Ну, черти, по домам! — распорядился пришедший в себя Пафнутьич... — Всем вам досталось, а у меня, вишь, ubyло.

Проснувшись утром, Михайло почувствовал сильный холод, голова его страшно трещала и была наполнена каким-то едким туманом, почти не позволявшим собрать мысли. Он увидел себя в какой-то конуре, на дровах. На нем валялась ветром подбитая, худенькая, вытертая яга. Он приподнялся, вышел из конуры и очутился в сенях, где встретил Пафнутьича. Даже смотря на лицо кабатчика, Михайло никак не мог сообразить действительного своего положения! Мысль работала дико, перескоками; то вот-вот подходит он к нити своих походов, то вдруг все впечатления сглаживаются, и в мозгах оставалось только сознание одной тупой боли.

— Чего буркалы выпялил? — злобно отнесся к нему кабатчик. — Давно пора вон убраться, варначьа душа.

— Да я где, любезный ты человек? — идиотически спросил Михайло.

— Ишь налился, что памороки отбило! Гайда домой!

Михайло, наконец, понял свою беду и ухватился за карман, куда накануне положил деньги. Там не оказалось ни копейки.

— Брат, а брат! — заговорил он просительно к Пафнутьичу. — Деньги были... ты взял?

— Это с чего вздумал?

— Ей-Богу, были.

— Ну и ищи, где пропил: разе мало ты диковал, дьявол, дьявол этакой, прости, Господи, мое согрешенье!

— Хоть малость отдай — двести рублей было...

— Ничего я у тебя не брал, подь ты к нечистому... Вчера с тобой возни было, а тут и пынече лезешь. Марш! Гайда!

Михайло опять чуть было не заплакал — и не только от душевной, но и от чисто физической боли: зуб у него не попадал на зуб.

— Ну хоть поднеси...

— Поднес бы я тебе — знаешь что? Ну да ляд тебя возьми — иди в кабак!

Михайло жадно хватил залпом стакан водки и тотчас охмелел. Пафнутьич вытолкал его на улицу.

— Что делать теперь? — задумался Михайло. Идти некуда, кроме острога; в Ковальске оставаться нечего — еще, пожалуй, к делу о ребенке притянут, а «лататы задать», т. е. бежать, — и холодно, и не с чем... Раздумывая, Михайло машинально пришел к дому; тут разобравший его хмель придал ему храбрости, и он отправился прямо к Василию Максимовичу.

Переченко, увидав его, наклонил голову.

— Чего тебе нужно? Ушел — и не возвращался бы... Зачем явился?

— Что говорить, Василий Максимович, виноват: зашиб дюже.

— Ну?

— Ну, я не насчет того, чтобы у вас остаться, а больше насчет того, что все деньги вышли...

— В один-то день двести рублей? — невольно вскричал казначей.

— Был выпивши — обобрали, и лапоть, одежду зимнюю... идти не в чем, а то я здесь и не остался бы.

— Вправду?

— Вправду, т. е. ни Боже мой! — и Михайло перекрестился.

— И никогда не вернешься?

— Да уж коли уйду — зачем ворочаться, Василий Максимыч?..

— Сколько же тебе еще нужно?

— Да что пожалуете, то и возьму.

Переченко подумал, потом вынул двадцать рублевых бумажек и отдал их работнику.

— Смотри, Мишка, — уговор лучше денег.

— И смотреть нечего: я сам уйду, Василий Максимыч, благодарствую за деньги...

Михайло, в самом деле, ушел из Ковальска, и Переченко вздохнул свободнее.

— Одним меньше! — радостно подумал он.



## ОДНИМ БОЛЬШЕ

— Теперь, Анисья Александровна, дело пойдет потруднее. Если я попрошу вас серьезным тоном приняться за эту барышню, так вы плошать не извольте: так и режьте, не церемоньтесь, напирайте: родила, мол, — и конец! Если ошибемся — не беда. Ну, понимаете, если что просто предложу, так и черное может стать белым.

Это говорил Андрей Иванович акушерке, когда они ехали к Переченко. По какому-то темному полицейскому чутью Андрею Ивановичу всегда казалось, что казначей способен на всякого рода делишки; последние происшествия в Ковальске — внезапная ревизия и нахождение ребенка — почему-то представлялись ему соединенными с бытием Переченко. Не раз городничий старался сообразить, в чем суть и дело; но так как на верную нить он напасть не мог, то отдал все на волю случая: авось тот выручит. Нужно сказать правду, что Андрею Ивановичу, который и сам за время городничества сколотил копейку, было досадно и обидно, что Переченко мог ссужать сотни тысяч. Поэтому когда приехали ревизоры и прошла весть, что Василий Максимович отдавал Зубову не свои, а казенные деньги, то городничий было успокоился, даже пожалел своего собрата-чиновника; но когда эта весть не подтвердилась, когда в казначействе были сосчитаны казенные суммы их полностью, то городничий чуть не возненавидел казначея за его достаток и дал себе слово — или упечь его, или содрать куш. «Грех да беда на кого не живет», — утешал он себя

и поэтому терпеливо выжидал. Устроив осмотр по совету письмоводителя, Андрей Иванович предположил, воспользовавшись этим осмотром, сделать основательную рекогносцировку во внутренний мир существования Василия Максимовича. Замкнутая, чисто отшельническая жизнь Сони давала немалый материал его воображению.

— Нет, что-нибудь да нечисто; тут рыло в пуху!..

Дорога была невелика, и едва городничий успел дать несколько советов и наставлений своей спутнице, как они подъехали к низеньким воротам казначейской квартиры. Михайло уже не существовало в Ковальске, а калитку отворила немая Олимпиада. Андрей Иванович, не спросив о том, принимает ли хозяин, прямо вместе с бабкой вошел на крыльцо, прошел длинную, полупустую комнату, служившей залой и гостиною, и живо очутился в кабинете Переченко. Василий Максимович сидел в халате перед столиком, на котором лежала целая куча разбираемых им бумаг. Не предупрежденный о приходе посторонних лиц, он крайне удивился, когда увидел городничего и бабку.

— Это... это что значит? — воскликнул он с досадою. — Как это?.. Как так?.. Не спросив, хотят или не хотят видеть, войти в чужой дом?..

— Извините, Василий Максимович, почтеннейший, что мы, по долгу службы и по делу очень важному, решились побеспокоить вас... Но вы не стесняйтесь, что вы в халате: госпожа повивальная бабка на этот счет в претензию не войдет.

Несмотря на эти фразы, сказанные с развязностью и даже с нахальством, Андрей Иванович чувствовал, что несколько конфузится от враждебного взгляда казначея, который, чтобы не пригласить сестр непрошенных гостей, сам приподнялся.

— Какая служба, какое дело в моей квартире? — спросил он. — Я тоже, кажется, служу, да ведь служат там, где указано, а не...

— Ваша служба, Василий Максимович, одна, а наша другая. Моя служба, сами знаете, полицейская: тут хочешь не хочешь, а подчас все же в чужой дом залезешь гостем хуже татарина.

— Что вам надо?

— Что надо — рассказывать долго... Так уж позволяйте сестр...

И Андрей Иванович, взявши стул для себя и для акушерки, расселся посреди комнаты.

— Дело вот в чем: в проруби нашей реки найден брошенный новорожденный ребенок.

Переченко побледнел и задрожал.

— По медицинскому освидетельствованию его оказывается, что рожден он несколько дней назад. Уведомив исправника о разыскании — буде возможно — преступных родителей в округе, я, с своей стороны, считаю необходимым употребить все меры для такого же отыскания их здесь, в нашем городе. На сей конец, сделав предварительное секретное дознание, я считаю необходимым прибегнуть к освидетельствованию всех женщин, на которых может пасть подозрение желания скрыть, по всей вероятности, незаконнорожденного ребенка.

— Однако, — нетвердо возразил Переченко, — вы, кажется, не имеете права обратиться ко мне за подобным обыском. Я, кажется, сам чиновник тоже...

— Эх, почтеннейший Василий Максимович, все это я очень хорошо знаю, как хорошо знаю, что может сделать преступление и чиновник... Что тут толковать! Обыск я имею право сделать в каждом доме, потому что я беру на себя ответственность в этом деле. Я делаю — я и отвечаю. Конечно, вы поймете, что у вас я сделаю обыск только так себе, чтобы не сказали о побрякках относительно вас, будто именно у вас его не сделал. Я был всюду: у купцов, у благородных — ничего не нашел. Если бы при этом у вас не сделал я обыска — ведь всякий имел бы право указать на это, всякий имел бы право утверждать, что именно там, где обыска не было, преступление и учинено. Притом я, как видите, не разбойник какой с большой дороги: лично осматривать женщину я себе не позволяю: я пригласил г-жу повивальную бабку. Женщине перед женщиной не стыдно... Нет ничего — ну и конец, а я свою обязанность исполнил, я чист, да и вы чисты. Таким образом, почтеннейший Василий Максимович, не упрекать меня за это должно, не препятствия ставить, а напротив, выразить искреннюю благодарность, что я с вас и с вашей дочери всякую тень снимаю.

— Однако согласитесь, что все-таки это позор девушке... С другими вы можете это сделать, а я у себя не позволю... Нет, не позволю!

— Ну нет, Василий Максимович, не позволить мне трудно. При этом непозволении я, первым делом, составлю акт о сопротивлении власти, а вторым делом, потребую формального освидетельствования, да не че-

рез бабу, а через доктора: будет ли это лучше, Василий Максимович?.. Я именно из уважения к вам делаю (так сказать) вольготу, никакого напрасного шума не допускаю; а уж если вы хотите шуму — так меня не вишите: сами попроситесь... Так-то, почтеннейший Василий Максимович... Уж вы препятствия всякие отодвиньте в сторону. Анисья Александровна свое дело сделает — и будет у нас тишь да гладь, да Божья благодать: я спокоен, и вы спокойны, я прав, и вы правы.

Во время своего ораторства Андрей Иванович от удовольствия потирал себе руки.

«Нет, брат, шутишь, — думал он, — дело нечисто; будь твое место свято — не так бы ты зарычал!»

Переченко пощупал свой боковой карман.

— Хорешо-с! Пусть госпожа бабка делает свое дело; я их охотно проведу в комнату дочери.

— А вот и прекрасно... Спасибо вам за это, Василий Максимович; вас, Анисья Александровна, прошу сделать дело по закону, как Бог и совесть велют, — с ударением сказал городничий.

Переченко вместе с бабкой вышли в зал. С досадою вынул казначей из своего бумажника двадцатипятирублевую ассигнацию и всунул ее в руку Анисье Александровне.

— Что вам там пачкаться? Вы посидите тут или хоть с дочерью поболтайте, а смотреть вам нечего. Ну а волку-то скажите, что там нужно.

— Ах, господин казначей, извините! Я бы душой рада — да не могу: все по закону должна сделать. Андрей Иванович шутить не любят; тут сплошаешь — всю свою жизнь погубишь. Я этого никак не могу.

— Так что ж вам падо? — с ненавистью спросил Переченко.

— Как угодно, господин казначей, я, ей-Богу, не могу. Вы уж лучше с Андреем Ивановичем переговорите... Как он скажет — так я и сделаю... А сама — нет, никогда. Если вам ваших денег жалко — я их вам назад отдам, а сделаю, как Андрею Ивановичу угодно.

Василий Максимович вынул еще билет прежнего достоинства.

— Ну, еще нате, — сказал он.

— Не могу, никак не могу! Разрази меня Бог на этом месте — не могу... Другой раз со всякой охотой, а теперь совсем не могу.

— А так отдавайте же все деньги назад! — зарычал

на нее Переченко и вышел в кабинет, захлопнув за собой двери.

— Я, Андрей Иванович, перечить никому не хочу, — повел он с затруднением и запинками речь к городничему. — Всякий сам себе зарабатывает кусок хлеба... Есть ли у меня грех какой или нет — это не беда; говорите сами — сколько нужно, чтобы покончить дело? Вы понимаете, я — отец... может, там что и случилось... Ведь за девкой не усмотришь... Так сколько же?

Городничий весело улыбнулся.

— Вот это лучше, — сказал он, — всякое дело начистоту вести. Дайте пятьдесят тысяч.

— Что! Да не с ума ли ты, голубчик, сошел! Пятьдесят тысяч!

— Именно пятьдесят тысяч, — с развязным жестом поддакнул Андрей Иванович, — именно пятьдесят тысяч, ни копейки меньше.

— Да за что? И откуда, наконец?

— За то, Василий Максимович, что детей, Божьих созданий, христианам в прорубь бросать не приходится, не полагается; а во-вторых, за то, что вот пока вы, Василий Максимыч, там с кушеркой болтали, я вот у вас маленький документец нашел, который тоже чиновнику и верному сыну Отечества иметь не подобает.

Городничий издала показал Переченко письмо Зубова о том, что деньги от казначея были взяты для скупа краденого казенного золота.

— Как, письмо у вас? — с ужасом проговорил Переченко. — Каким образом?

— Не образом, Василий Максимыч, а руками со стола взял, тут вот оно между бумагами лежало.

Переченко мог только развести руками.

— Откуда же деньги взять? — беззвучно прошептал он.

— Это уж дело ваше, Василий Максимыч! Из казенных ли вы возьмете, как для Зубова, или из своего кармана выложите — мне, ей-Богу, все равно: деньги царские — всюду ход имеют.

— Но это разбой!..

— Какой разбой, Василий Максимыч? За разбой разбойники в острогах сидят, вместе с детоубийцами и другими преступниками, а я в вашей квартире обыск произвожу, а между разбоем и обыском разница большая... Я сам к разбойникам строг. У нас же тут дело полюбовное. Что же? Пятьдесят тысяч даете?

— Не могу.

— Э, полноте, Василий Максимыч! Зубову — так триста тысяч дать можно, а мне в пятидесяти отказ! Несправедливо, ей-Богу, несправедливо! Где же правда после этого? Ведь будь другой на моем месте, Василий Максимыч, так он человека голого пустил бы, а я так совесть имею... Знаю, что вам можно, — ну и спрашиваю, вы, может, с вами, Василий Максимыч, еще приятелями будем... Может, мне когда деньжонок понадобится — я к вам, а вам понадобятся — вы ко мне: так стоит ли из-за пустяков торговаться? Что дело тут сделано — это верно, и сомнения быть не может; так вам за то, чтобы со всем этим покончить, да навсегда, — да пятьдесят тысяч не дать, а мне их при этом случае да не взять — что мы с вами, Василий Максимыч, за люди бы были! Ведь над нами куры смеялись бы!.. Вы послушайте, что у меня письмоводитель говорит: с одного вола дери семь шкур; по латыни, бестия, это говорит... А я, может, только какую шерстиночку вычесываю...

Невесело было Переченко выслушивать эту длинную проповедь, но что оставалось делать? Сам он хорошо сознавал, что будь и он на месте Андрея Ивановича, то ведь тоже не упустил бы случая: логика чиновника была понятна чиновнику.

— Всех денег сразу дать не могу, — порешил он наконец: — все, что есть налицо, то отдам.

— Позвольте полюбопытствовать: сколько есть налицо?

Переченко выдвинул из-под кровати сундук, с глубокой сердечной болью открыл он его и, отбросив стопы полторы белой и цветной бумаги, приподнял доску и под нею открыл толстый слой пачек кредитных билетов, расположенных симметрично, по их достоинству, цветами радуги.

— А, да тут довольно! Вот вы, Василий Максимыч, спрашивали: откуда, мол? Откуда-то нашлось! Давайте-ка сочтем...

— Берите все, что есть, — довольно будет.

— Ну, нет, Василий Максимыч, деньги счет любят; вам и мне считать их — дело привычное, стало, долго не задержимся. Я ведь человек честный: окажется излишек — вам отдам, не захочу им пользоваться; а не хватает чего — вы доплатите; и копейкой брезгать нельзя — копейка рубль родит.



Пришлось считать. Денег оказалось сорок две тысячи шестьсот рублей.

— Ну, вот видите, Василий Максимыч, взял бы без счета и был бы наказан: восемь тысяч деньги не шальные, их на улице не поднимешь... Вот вы их и доплатите-ка.

— Да довольно, Андрей Иванович, все отдаю, что есть.

— Нет, Василий Максимыч, не все: условие — пятьдесят тысяч, пятьдесят тысяч и давайте... Разве я вам одно дело делаю? Целых два: и ребенка на веки вечные хороню, и письмо отдаю.

— Да нет ведь, хоть лопнуть — нет.

— Коли нет — подожду... Отчего не подождать? С ребенком я дело кончу, а письмо спрячу до поры до времени... Вы мне восемь тысяч — я вам письмо, и будем квиты. Разумеется, за время, пока вы будете держать мои деньги, вы мне процент положите...

— Как! На мои деньги — и проценты плати?

— Какие ваши, Василий Максимыч? Были бы ваши — я и требовать их не мог бы; коли требую — значит, мои.

«Хорош гусь! — невольно подумал Переченко... — Лучше враз с ним покончить...»

Он подавил на одну сторону дно, которое оказалось фальшивым, так как доска отскочила, под нею была масса ассигнаций далеко большая, чем в первом слое.

— Эх, да шутник же вы, Василий Максимович, как замечу я! — дружески хлопнув казначея по плечу, воскликнул городничий. — Ведь я чуть на вашу удочку не попался; думаю — может быть, у человека и в самом деле денег нет... Ну, батюшка, хорош я, а вы еще лучше! Вот, поди, с людской простотою как раз влопаешься, Тут денег куры не клюют, а он казанской сиротой прикидывается... Да ведь как! Что и поверишь... Эх, видно проходит то время, когда люди простотою брали!

Между тем, с помощью Переченко, городничий отсчитал себе семь тысяч четыреста рублей и, передав письмо казначею, заметил дружелюбно:

— Ну, батюшка, за то, что меня хотели поддать, платите-ка и повивальной бабке. Я свои пятьдесят тысяч и не трону: тоже сундук с такой крышкой заведу. Сверху гляди — нищ и убог, а посередке — сахар да патока... Что вам, Василий Максимыч, в казначействе служить:

шли бы в полицию! С вашим умом какие деньги можно нажить!

— Сколько ей-то, бабке, дать? — на заигрывание городничего спросил Переченко.

— Ну, черт с нею, дайте три рубля — бабе и того много... Ведь она таких делишек не обдeldывает, как мы с вами...

Переченко разорвал письмо.

— Теперь уж всему конец?

— Еще бы! И спросу нет... Разве, коли не обессудите, заверните на обедешко: шаркнем!..



## СИБИРСКАЯ ШВЕЙЦАРИЯ

Центры человеческой культуры, нервные узлы исторической жизни народов, с каждым новым веком бросают свои прежние пепелища и, оставив им в наследство гражданственность и благосостояние, роковою силою переносятся на новую почву, где горсти брошенных старых семян дают плод сторицею и где под влиянием другого климата, других этнографических и географических условий, видоизменяется само растение, приобретает особую силу, аромат и цвет. Рим сменил Афины, Кордова — Рим, Париж — Кордову, тевтонское племя сменяет теперь романцев; придет время, когда на исторические подмостки взойдут славяне в первенствующей роли в божественной комедии, неустанно разыгрываемой человечеством. Тогда те уголки великого русского мира, которые теперь дышат дикою, девственною прелестью, первобытною чистою красотою, те уголки, где пока только

дикий зверь изредка топчет мягкую мураву, пьет из кристалльных ключей и находит тень под могучим кедром, зашумят кипучею людскою деятельностью, привлекут тысячи переселенцев и энергических работников, тысячи граждан с их духовными и умственными потребностями.. А сколько таких неведомых глухих уголков рассеяно всюду, на побережье Ледовитого океана, омывающего Архангельскую губернию, или у подножия Алтая, раскинувшегося на китайской границе!..

Вот Чулышман, выйдя из Джулукуля, напившись из Каракема, Куракуры и сотен горных речек, потом, соединясь с Бачаусом, разбивает каменную гору пополам и образует удивительное Телецкое озеро... Боже мой! Какая картина... Со всех сторон горы подпирают небо; словно ровные стены, поднимаются утесы один другого выше; вон оборвавшаяся скала уцепилась при своем падении за другую и грозно висит над черным ущельем; от горных потоков в воздухе идет какой-то тихий гул, словно далекая песня... А вся картина не страшна — она бодрит, а не пригнетает человека: лазурь неба весело смеется, яркая зелень травы и деревьев живет уступы, а светлые воды озера радостно несут холодные волны Чулышмана в ее родную сестру Бию...

Вот Белуха, снеговой конус в одиннадцать тысяч футов над уровнем океана; вокруг нее ледники и глетчеры; ее ледяная кора, словно алмаз, преломляет солнечные лучи и переливается радугами: она и видна далеко-далеко, за десятки верст. Тут Белогорье, человек его боится; зато, когда наступят жары июня и июля, зверь спешно бежит сюда, ища прохлады и бодрости...

Вот бом, результат труда человека и прихоти природы. Две каменные стены, саженей во сто высоту, разделены кипучей речкою, бешено между ними бьющеюся. Посреди скалы, по уступу от полуаршина до сажени шириною, вьется обходная тропинка. В иных местах двум путникам не только что не разъехаться, но не разойтись; при встрече кому-нибудь из них нужно бросаться на верную погибель в шумящий внизу поток. А неустрашимый человек выбрал этот путь за неимением другого лучшего; верст пять едет он им, боясь глянуть в небо и стараясь не слышать рев реки... Вся надежда — лошадь; оступится она... единицею меньше в списке человеческих существ. Зато верный конь опробует каждый камешек, на который ставит свое широкое копыто; а чтобы не встретиться с кем-нибудь, путник спер-

ва пешком проходит бом и в конце его кладет шапку или кушак: это маяк на подводной скале; пароль его — остановись и жди!

Вот незримый ключ подточил камень: глыба саженей в полторы осела в пропасть — бом разорван. Человек вооружается топором, рубит вековые деревья, устраивает живой мост. Набросив на шею лошади чумбур, сползает он по этой настилке на другой край пропасти. Слава Богу! Под ногами камень! Чумбур натягивается, бедная лошадь, вся дрожа, чуть не волоком тащится по колеблющимся бревнам... Слава Богу! И она переволочена, — вперед!

А вокруг — что за богатство! Чего только нет! Лес, хлеб, олово, медь, свинец, серебро, золото, малахит, драгоценные камни! Какие залежи каменного угля, этого золота XIX века! Какой зверь, какая рыба...

А что за бедность в действительности! Вот становище инородцев, телеутов. Какие-то первобытные шатры, наскоро сколоченные и обтянутые шкурами; вверху отверстие, через которое проходит едкий дым; в чуме темно и грязно, холодно и сиротливо. Лица хозяев чудско-монгольского типа; рост — средний и ниже среднего; сложение слабое; умственное развитие первобытно; занятие — скотоводство и звериный промысел. Если каким-нибудь образом по становищу потянется стая русских — все бросается, и полулюди-полужвери спешат укрыться в непроходимую чащу, так как эта стая с добром не приходит... Путнику поэтому приходится скрадывать инородца, являться к нему тайком, как снег на голову: тогда бежать некуда, и телеут примет, даст что нужно, хотя ему и цена-то денег неведома и он признает только мену вещи на вещь, барана на табак и т. д. С размаху тычет он своим указательным пальцем в папушу табаку: пробьет ее сразу — давай еще; не пробьет — довольно, хотя материалу на кровный русский пятак.

В такой-то девственной сторонке, в середине осени 1838 года, пробирались два путника: мужчина и женщина. Их похудевшие лица выражали страшную усталость, и почти все платье было в лохмотьях. У мужчины за поясом находился топор, а на плече неказистое ружьишко. Шли они с трудом; особенно тяжело давалась дорога бедной женщине, полнота которой могла служить сильным признаком беременности.

— Поотдохнем, Митрич, — заговорила путница, — просто мочи нет.

- Отдохните, Александровна, отдохните.
- Господи! Коли б добраться до жилья какого...  
Ведь дней двадцать плутаем...
- Долгонько...
- Что ж дальше будет, если дороги не найдем?
- Бог милостив, Александровна, доберемся как-нибудь...
- Да когда? Когда?
- Этого уж, матушка, не знаю... Бог даст, скоро... Я ведь сам, почитай, пять суток крохи хлеба в рот не брал... Как живот-то подвело!..
- Лучше бы и не уходила я...
- Оно, может, и лучше, да спокаиваться теперь поздно... Вот на татаришку нам на какого наткнуться — не в пример дело сподручное вышло бы... А то ведь и порошу заряда как на три осталось... Да уж и птица претить стала... Токмо и жрешь, чтобы не околеть...
- Ну а тогда что?
- Тогда!.. тогда, сказал я вам, татарва сичас дорогу покажет: дошлы они на это, пятнай их! Почитай носом куда идти нужно, узнают... Да и хлеба и барана даст.
- Так ты, Митрич, найди их... Право, словно смерть приходит... Ведь вот выкидывают же бабы: что бы и мне с мешком моим развязаться!
- Грех, Александровна, ей-Богу, грех...
- Ты побыл бы на моем месте, тяжесть эту потаскал бы...
- Ну, мне это невозможно, — с усмешкою ответил Фролов, — а все говорить — грех! Может, Бог и дороги потому не дает, что на уме дума такая...
- Хоть ягод, Митрич, поищи каких, колбы, что ли.
- Это можно, т. е. с нашим удовольствием.
- Именуемый Митричем взял небольшой коленкорový платок и отправился в сторону...
- Те, кто были на Константиновке, в мужчине узнали бы геркулесообразного Фролова, а в женщине — дочь Александра Ивановича Сунгурова, Оленьку... Негаданно стали они близкими друг другу людьми; негаданно же очутились они неподалеку от Телецкого озера, этой красы Алтая... Вот как это случилось:
- Убийство Анзарова произвело страшное впечатление в Багуле и на Константиновке; при первой вести об этом в Багуле все стали в тупик. Толки пошли разнообразные. Наиболее трусливые предположили, что убий-

ство было следствием бунта рабочих, порешивших вырезать все начальство; что и Ястребов не избежал участи Анзарова и что бунтовщики, пожалуй, скоро подступят к Багулу; нужно-де поэтому стянуть сюда войско... Другие делали догадки, что «не спустил ли» ревизора управляющий, вследствие того, что первый слишком ревностно принялся за ревизию: ведь и это бывает!.. Вымыслы росли, приводили к спорам и противоречиям, так что нашлись, наконец, скептики, которые стали утверждать, что ничего на Константиновке не случилось и что все рассказы лишены вероятия, основания и смысла.

— Ястребов слишком умен, чтобы допустить какую-нибудь глупость, — восклицал Обвыдович...

— У всякой Машки бывают промашки! — не утерпел вклеить словцо Замурзуев.

— Но согласитесь сами, что нет возможности в присутствии двух офицеров произойти тому, о чем толкуют...

— Вы, cher Обвыдович, совершенно правы, — говорила M-mne Эрнос. — Все эти les on bits ne sont que de canards... Когда мой Мишель управлял Серпаноповским рудником, я жила в Петербурге. Debut en blanc, получаю весть, что Мишель погиб, так как рудник затопило... Я в ужасе... А оказалось, что это selon un proverbe russe, колокола льют и поэтому нелепости распускают...

— Тем более держусь я своего мнения, — добавил Обвыдович, — что мы не имеем до сих пор никакого официального донесения...

— Не мертвым же об этом писать, — ответил Замурзуев.

Рабочие на Константиновке, хотя и предвидели, что история с Гуриным добром не кончится, но и они, в свой черед, никак не ожидали, чтобы искупительной жертвой был ревизор — менее других виновный.

— Это, значит, в небо попал пальцем, — заметил один из них.

— Целился в кукушку, а попал в телушку, — поддакнул другой.

— Бил батько сына, а жинке его стало больно, — прибавил третий.

— А что-то будет, братцы? — спрашивали все...

Этот вопрос задавал себе, немного успокоившись, и

Ястребов. Дело кончилось так своеобразно трагически, что он положительно потерял голову. Окровавленный труп Анзарова глядел ему в глаза с едким укором и парализовал его мысль; Лука Иринархович не мог придумать какого-нибудь подходящего объяснения, при котором выгораживал себя, слагал вину на других; стало быть, все порядки на Константиновке должны разъясниться... Ведь, шаг за шагом, могут до всего добраться, до всего докопаться!..

Ястребов не управлялся с мыслью об одной жертве, а неподалеку, в приисковой больнице, в предсмертной агонии призывала другая. Умиравший Гурин изъявил желание видеть своего начальника...

— Идти или не идти?

Ястребов боялся, но пошел; он все же начальник прииска, обязанный творить суд и расправу, а умирал не просто рабочий, а преступник, так сказать, лицо с официальным значением... Притом, пожалуй, рабочие подумают, что Ястребов трусит.

Приисковая больница помещалась в чистой и светлой комнате, не отдавала лекарствами и мертвечиной и вообще производила хорошее впечатление. Больных в данный момент не было, и только на кровати, стоная, метался Гурин.

Ястребов молча стал у постели.

— Спасибо, ваше высокоблагородие! — с перерывами начал умирающий, когда заметил начальника. — Хоть за это спасибо!.. Простите, Лука Иринархович, меня за все... А я тоже простил... Совсем простил... Будьте... к умирающему... милостивы... Оленьку, Сунгурову дочку, защитите... от отца... родит... Господи!

Гурин заметался, произнес еще несколько бесформенных звуков и стал трупом.

Вот другой труп перед Ястребовым, труп штрафного рабочего, явного убийцы, но и перед ним тяжело стоять Луке Иринарховичу, даже он глядит на живущего с упреком... Муки совести растут, больше и больше охватывают сердце острыми когтями... В голову Ястребова невольно закрадывается мысль, что чаша переполнена, что время кары настало, что лучше сказать всему свету: «Я виновен!» — понести наказание и этим наказанием помириться с людьми... Но примирятся ли они с ним? Ответят ли ему нравственным прощением?... А жена? А товарищи? Найдет ли он чистое сердце, которое отозвалось бы на его честный поступок? Будет ли его

смирение, его преклонение себя перед человеческим и Божеским законом принято так же искренно, как искренно прольется оно из наболевшей души?...

Увы, нет! Оправданный заведомый преступник, скрывшийся от суда казнокрад, растлитель, образованный мошенник — все найдут доступ в человеческое общество, а виновный, висящий на кресте и чистосердечно взывающий: помяни мя, Господи, егда прийдеши во царствие твое! — еще должен ждать прихода этого царствия; пугливые же люди отделяют себя от него крепкими стенами, частыми и толстыми решетками и, главное, вечным словом осуждения!..

Поэтому когда Ястребов возвратился из больницы, то начал помышлять не о покаянии, а о том, нельзя ли как-нибудь свести концы с концами, извернуться? Признание Гурина о связи с дочерью Сунгурова дало ему новый мотив для подобных дум. Недаром Ястребов дебютировал литературным измышлением: под влиянием возбужденного воображения любовь умершего рабочего вызвала в нем мысль о ревности, ревность — новую идею о кровавой расплате; целый роман страстей выработался в самое короткое время в голове Луки Иринаровича.

Он, взявши со стола горный устав, велел позвать Сунгурова; тот явился.

— Тебе знакома, — спросил его Ястребов, — эта статья закона: «Чиновники, как горного, так и гражданского ведомства, а равно и штейгеры и нарядчики и другие люди, состоящие на казенных заводах или фабриках, и управляющие частными заводами приказчики, нарядчики и вообще все на сих заводах служащие, которые будут изобличены в попусшении кражи золота, платины, серебра и драгоценных камней или же запрещенной торговлей оными, если они учинили сие с умыслом, подвергаются лишению всех прав состояния и ссылке на поселение в отдаленнейших местах Сибири?»

— Знакома, Лука Иринарович.

— Как ты думаешь — к нам она применима или нет?

Сунгуров съежился и промолчал.

— Ну?

— Как же, подходит...

— И очень даже!.. Что же мы скажем по поводу смерти Анзарова?

— Не знаю, Лука Иринарович.



— А ты знаешь, что Гурин жил с твоей дочерью? Александр Иванович раскрыл глаза.

— Когда же? — спросил он с недоверием.

— Это их нужно спросить...

— Ну, задам же я ей!..

— Не следует; это для нас единственное спасение. Научи свою дочь, пусть она покажет, что Гурин убил Анзарова из ревности, так как видел их вместе...

— А рабочие? Ведь они, Лука Иринархович, иначе покажут...

— Что же, ты, что ли, убил Анзарова? Тебя разве они видели?.. Да и за что иначе Гурин выстрелил бы в ревизора? Разве он знал его? Был им обижен? Притеснения от него испытывал?

— Это точно...

— Так ступай же! Устраивай все у себя... А я готовлю рапорт, и ты отвезешь его в Багул сегодня же.

— Может, другой бы повез?

— Другому нельзя: разболтает.

— Слушаю.

У Ястребова через два часа был готов прелестнейший, самый вероподобный рапорт, который с фактической и нравственной стороны до того ясно обрисовывал неожиданную катастрофу, что самый опытный следователь дал бы ему полную цену и признал бы его за евангелие для данного случая. Лука Иринархович был сам доволен своим сочинением, и если этот рапорт сохранился до настоящего времени, то не худо бы напечатать его как образец деловой бумаги.

Сунгуров, несмотря на совет Ястребова, обделал свое дело не так удачно. Ему казалось необходимым попристращать дочь, и он, прежде всего, ухватил ее за длинные каштановые волосы, начал таскать по комнате.

— А, шлюха! — вопил он. — Так вот с кем связываться, распутничать... с убийцами!.. От душегубца беженеть...

— Тятенька! Голубчик! Простите!

Но «голубчик» только приходил в большую ярость; руки его, благодаря последним событиям, давно не были в ходу.

— Ты у меня еще не так запоешь, когда свидетельствовать так начнут, следствие производить! — кричал он... — В гроб вгонию тебя! Не мне пропадать, а тебе... Так и показывай, анафема, что через тебя Николка убил ревизора, что хвалился тебе он об этом. Слышишь?

— Слышу, тятенька, слышу, только простите!..

— Никогда не прощу: пусть только плохо дело сойдет — я с тобой разделаюсь...

Часов в пять вечера Сунгуров уехал с рапортом в Багул, где стал львом дня. Все его расспрашивали по нескольку раз, комментировали и перевирали его слова, удивлялись любви рабочего, припоминали героиню истории и жалели о ветренности Анзарова. М-ме Эрнос совершенно не оправдывала Анзарова (он иногда пользовался ее прихотливым расположением); зато жена Ястребова не могла нахвалиться своим мужем.

— Право, рара, — говорила она отцу, — Lucien — прекрасный человек; ведь если бы у него там были какие-нибудь liaisons, — так же кончил бы, как Анзаров, тем более...

— Может, другие мужья и любовники не так ревнивы...

— Mais on la dit la plus jolie... а у Люция, надеюсь, вкус есть...

— Эх, милая, — не похорошу мил, а по милу хорош.

— Ну, ты всегда такой!..

Избитая Оленька Сунгурова вовсе не предполагала, что она так занимает багульскую аристократию; она больше думала о синяках, насаженных отцовской рукою, да о будущих истязаниях и поэтому решила бежать, пропасть от отца, добраться до какого-нибудь далекого города, найти там место горничной и докоротать свой век. Беременность ее начинала становиться заметною и была тоже в числе поводов бегства: все же стыдно перед знакомыми и подружками...

Порешив бежать ранним утром, она вытащила из комода матери несколько сот рублей, наложила в скатерть немного белья и платья, набрала побольше хлеба и, выйдя из отцовского дома, пустилась стороною от дороги по направлению к северу.

Сначала шла она быстро; мысль, что она покинула Константиновку, радовала ее, бодрила. Но потом, когда, притомясь, она села отдохнуть, то ее разобрало раздумье... В великом Божьем мире она почувствовала себя сиротою... Лес... Глушь... Она одна... Тяжелое, неразделенное горе сдавило ее сердце, на глаза выступили невольные слезы... Оле страстно захотелось вернуться домой...

«Там что еще будет или нет,» — подумала она.

Вдруг около нее что-то шорхнуло. Оле показалось, что словно зверь какой шмыгнул возле нее, и она вскочила. Припомнив рассказы о медведях, она тут же бросилась бежать вперед без оглядки. Страх прибавил ей силы, но страх же отнял у нее разумение — вследствие чего, она, вместо того чтобы вернуться домой, бежала в совершенно противоположную сторону, и с каждой минутой расстояние между нею и Константиновкой становилось больше и больше... Она предполагала, что вот-вот покажется прииск, а между тем чаша становилась гуще и гуще... Когда, наконец, и ей пришло соображение, что она идет не туда, куда следует, то было уже поздно. Темный безлунный вечер налег на тайгу, кое-где показались звездочки; становилось сыро, по лесу от времени до времени шел не шум, а какое-то тихое выкрикивание... Невыразимо жутко стало Оле.

Она выбрала дерево поветвистее и небольшое, вскарабкалась на него и уселась как возможно удобнее в ожидании следующего дня. Чувствуя крайнюю усталость и дремоту, чтобы не упасть, она привязала себя двумя бывшими с нею полотенцами к толстому суку...

Ночь.

Оля то забудется, то пугливо встрепенется... Думает ли она, и о чем? Снилось ли ей что? Мало радостного дало ей прошлое, да и будущее сулит только горе и беду... Об этом ли думать? Это ли заставляет ее вздрагивать или просыпаться? Идти назад — некуда... Идти вперед, в неведомую даль, по девственной тайге, — тоже не для чего... Что же делать ей?

Вот свет начинает мерезить... Он словно крадется в царившую тьму, которая понемногу сбывает и сереет. Звезды тухнут, а в тумане на земле кое-где вырисовываются еще неопределенные фигуры деревьев... На востоке темное небо, как газовый покров, то здесь, то там приобретает алую подкладку. Вдруг враз стало почти светло, и вдруг же, словно по манию, в тайге поднялся свист, щелк, улькание птицы, визг и тявкание зверя; земля ожила. Вот и пурпурные нити пошли по воздуху, становясь ежеминутно жарче и жарче... Вот, наконец, выкатилось и красно-золотое ядро солнца... Слава дню!

Оля проснулась, оглянулась и стала горячо молиться. Долга была эта молитва, хоть не о многом было прошено в ней! Почти те же звуки без перемены твердили уста — и один только вопль слышался в них, но и он

словно утешал... Покончив молитву, Оля машинально двинулась по солнцу... Куда? Разве не все равно?

Дня через два, под вечер, когда бедная девушка, утомленная невыносимую дорогою, уже собиралась лечь, раздался выстрел...

— Господи! Правда ли? — подумала она, вся встрепенувшись.

Тихо.

— Должно, скала где упала! — уныло заключила Оля.

Другой выстрел ближе.

— Палят, палят! — радостно закричав, неудержимо бросилась девушка на звук. Ветви хлестали по ее лицу, сучья рвали платье и обувь, а она бежала и бежала по направлению к выстрелу и, не видя никого, начала кричать.

— Эй, добрый человек, откликнись! Пожалуйста, откликнись!

В самом деле, послышался хруст, и из-за деревьев минут через десять показался мужик.

Это был Фролов... Расставшись с Гуриным, он, как и Оля, ушел в сторону от дороги, шел зря и заблудился. Свел их теперь случай: бежавший работник с ружьем добывал себе скудное пропитание; но его выстрел не только уложил изворотливого бекаса, но и привлек к нему спутницу.

— Господи! Ольга Александровна! — закричал Фролов, увидев девушку.

Дочь Сунгурова не знала мужика (где всех рабочих помнить!) и с некоторым страхом посмотрела на него.

— Милый человек, — сказала она пугливо, — если ты знаешь наш прииск, Царево-Константиновский, доведи меня: я тебе заплачу, сколько хочешь заплачу...

— Эх, матушка! Сам бы я заплатил, коли б меня кто в какое ни на есть жилье привел... Сам плутаю... я ведь тоже с Константиновки... Никола Петрович Гурин мне приятелем был — через него и хожу теперь диким зверем...

— Да как же теперь?..

— Коли хотите — пойдете: может, куда и дойдем...

Выбора не было — и Оля стала спутницей Фролова. Дорогою пересказали они друг другу все, что было на сердце. Фролов, во время невзгод Гурина, так полюбил последнего, что и Оля, несмотря на то, что приходилась дочерью Александру Ивановичу Сунгурову, стала ему

люба и дорога, как любовница Гурина, особенно под условием того несчастного положения, в котором она находилась. Если плюгавый Макарка Перебеднев обрел в Фролове помощника и покровителя, то заблудившаяся, страдающая девушка вызвала в нем такое самоотвержение, которое способно даже великого преступника обратить в великого святого. Он бескорыстно, покорно, с обожанием стал служить Оле, сторожил ее ночью, переносил через реки, помогал взбираться на горы, готовил ей еду, выносил жалобы, успокаивал, поддерживал в ней бодрость. Несмотря на собственный голод, он охотно не дотрагивался до оставшихся крох хлеба — лишь бы Ольга Александровна с этими крохами могла бы таки добраться до людей, до какого-нибудь поселка, где существует покой, необходимый для рождения ребенка Николая Петровича...



## ТЕЛЕУТ И СТАРОВЕР

Проходив добрых два часа за ягодами и набравши их полный платок, Фролов думал уже вернуться к Оле, как шагах в полутораста от себя услышал злобный рев.

«Ведметы!» — вздрогнув, подумал он и оглянулся кругом. Страшного неприятеля не было заметно. Впрочем, при более тщательном осмотре кустарника, Фролов увидел небольшую прогалину, а за ней полянку, посредине которой росла великолепная огромная лиственница в два или в три обхвата. С одной стороны дерева ежился маленький, худенький телеутишко с луком и стрелой, а с другой стороны на задних лапах ходил

громадный медведь. Инородец маневрировал так ловко, что, кружась около дерева, неуклюжий зверь никак не мог ухватить его и поэтому страшно злился, бил по разделявшей преграде, конечно, без малейшего успеха: расстояние между врагами не уменьшалось. По самому незаметному жесту медведя телеут угадывал направление неприятельского поворота и мигом, словно кошка, отскакивал в противоположную сторону. Медведь после многих неудачных попыток отошел, набрал валежнику и палых сучьев и стал накладывать их к лиственнице, чтобы устроить баррикаду. Инородец в это время, натянув елико возможно тетиву, пустил стрелу, которая с визгом уселась в мохнатой шее. Удар был неверен; медведь, еще больше рассерженный, бросил сучья и начал усерднее прежнего кружиться за инородцем; он был крайне смешон своими скачками.

Фролову случалось хаживать на медведей. Первый его опыт, лет двенадцать назад, вышел очень неудачен. Управляющий прииска, страстный охотник, вызвал человек двенадцать рабочих на Михайлу Ивановича Топтыгина, начавшего погуливать около прииска и задравшего пару лошадей; Фролов был в числе охотников. Придя на указанное место, рабочие долго искали зверя, но напрасно. Вдруг, когда думали они уже возвращаться, из-за колоды, как раз около Фролова, важно поднялся Топтыгин, седой, огромный, с своими отвратительными свинными глазками. Когда медведь рявкнул, Фролов до того перепугался, что, снявши шапку, сделал зверю солдатский фронт.

— Это не я-с, — возопил он просительно генералу Топтыгину, — ей-Богу, не я, это его благородие приказали на вас идти...

Плохо кончилось бы с этим испугом, если бы пули другого рабочего не положили зверя на месте.

Фролов сам посмеивался над оказанною трусостью; зато впоследствии отомстил не одному Михайлу Ивановичу...

Будь он и теперь здоров, сыт и не утомлен, кажется, с топором кинулся бы он на зверя: русская удаль просила работы. Но дорога и голод истомили его; да, кроме того он был не один, задерет медведь — кто послужит Оле? Поэтому, решившись помочь телеуту и покончить зверя наверняка, он начал заряжать ружье так тихо, чтобы медведь не почуял и не кинулся. Как только по-

следний стал боком к дереву, Фролов приложил ружье на сучок вместо сошек и спустил курок. Сперва дым застлал кругозор, но потом, когда он рассеялся, Фролов увидел, что зверь судорожно вздрагивает около дерева, а телеут в недоумении разводит руками.

— Охулки на себя не положил, и зверь-то матерый, язвы его! — подумал самодовольно Фролов и скорыми шагами кинулся вперед.

— Ги-и-и! — завизжал телеут.

Хорошо, что Фролов отскочил в эту минуту; от зверя он был саженьх в четырех, когда тот, собравши весь остаток жизненных сил, прыжком ринулся на рабочего; движение его было так быстро, что он ухватил-таки лапой за бедро Фролова; но тут же околел, сделавши не столько опасную, сколько большую рану.

— Вот те, бабушка, и Юрьев день!.. Пятнай тебя! — выругался раненый.— Ах ты, анафема, дьявол этакой! Как ухватил! А ты что, татарская морда, глядишь, выпуча глаза? — обратился он к телеуту. — Только гикать знаешь!..

Иностранец, не понимая ни слова, в самом деле только тарачил глаза; впрочем, потом, указывая зверя и на юг, начал махать рукой и бормотать.

— Ляд разберет твои собачьи разговоры... А вот со мною лучше гайда, за мадамой, — махнул ему Фролов.

Он чувствовал, что трудно ему будет идти без помощи и, ухватив иностранца за плечо, начал толкать его в ту сторону, где оставил Олю. Телеут сперва сопротивлялся и замышлял скрыться; но Фролов держал его крепко, мало-помалу подвигался вперед, пока на его голосный зов не пришла Оля, слышавшая рев и выстрел и догадавшаяся о встрече со зверем.

— Жив, Митрич? — неуверенно спросила она.

— Жив-то жив, только маленько поцарапал меня пакостник. Еще малость — совсем задрал бы... Вот эту татарву хотел выручить, а сам подвернулся...

— Ну уж ты, Митрич, этого не делай... С кем я останусь?.. Пусть бы татаришку задрал, а то теперь как пойдем?

— А куда без татаришки этого пошли бы, Лександровна? Нет, слава Богу, что я дело ему оболванил!

И Фролов жестами начал показывать телеуту, чтобы он провел их, где люди живут и хлеб едят.

— Гайда туда, понимаешь, — говорил он ему, — где народу много... один, два, пять... еще пять... Понимаешь?

Телеут что-то начал соображать, потом, взяв заблудшихся за руки, осторожно привел на место, где был убит медведь; тут он лег на землю и закрыл глаза, потом вскочив, указал на восток и тыкнул себя в грудь.

— Это что он, Митрич, говорит?

— А думаю, чтобы мы здесь проспали, а завтра рано, когда солнце взойдет, придет он за нами.

— А коли не придет?

— Нет, должно, придет, ведь какой ни на есть нехристь, а все человек, а я его спас от зверя... Вот был бы жид — и я не поверил бы.

Телеут, между тем, принялся живо потрошить медведя и сдирать с него кожу; эту работу он делал с удивительной ловкостью; не так скоро старая бабка чулки вяжет, как нож сверкал в его руках; в какой-нибудь час вся шкура была отделена от мяса гладко, чисто, мастерски. Шерсть на медведе была густая, волнистая, с легкой остью; шкура, наверное, стоила рублей более десяти. Но брать ее с собою инородец и не подумал. Напротив, он те же сучья, которые так усердно собирал для баррикадирования его покойный лесной генерал, положил костром, высек огня и развел пламя. Скрывшись на несколько минут, он притащил в кочне воды, омыл ею рану Фролова и приложил к последней теплого медвежьего сала. Все это делалось с такой живой радостью, с таким благодарным покорством, что Фролова чуть не прошибла слеза.

— Вишь ты — татарин, а чувствует... Ведь тоже, значит, Божье создание! — с запинкой проговорил он.

Как только показался полный месяц, инородец, еще раз любовно, поглядевши на своего спасителя, молча двинулся в чашу и почти тотчас скрылся в ней.

Давно ли Фролов и Оля сошлись с этим дикарем, которого они вовсе не понимали? Однако уход его словно осиротил их; непонятное томительное чувство охватило их души, какая-то невольная боязнь сжала их ум. Они одни в этой страшной, бесконечной тайге, где нет ясного человеческого следа, и где бедные путники уже переиспытали столько горя и страданий!

— Напрасно, Митрич, ты отпустил его, — прошептала Оля, придвинувшись к Фролову. — Лучше вместе пошли бы.

— За ним не уйдешь! — сумрачно ответил последний.



- Боязно мне.
- Разве и раньше не было то же?
- Пусть бы днем шел...
- Авось к дню и воротится татаришка, доведет куда ни на есть. По крайности, подкрепим себя сном.
- Господи! Коли б выбраться только...

Они замолчали, и каждый отдался своим думам. Фролов, собственно говоря, напрасно тщился осмыслить свое положение: голова его мало привыкла к умственной работе, и поэтому первая пришедшая в голову мысль туго, неповоротливо вырождалась в другую, словно ей трудно было оторваться от факта, от непосредственно окружающей обстановки, словно ей невозможно было полететь свободною птицею в далекие края, где люди живут вольно и счастливо, без страхов и испытаний и куда инстинкт надежды непременно поманил бы человека с более, чем у Фролова, развитым воображением. Приисковый геркулес с какой-то тупостью глядел на догоравший костер и только думал при этом: придется ли и завтра погреться таким же образом? От времени до времени отблеск пламени освещал утомленное, болезненное личико Оли; глядя на это личико, Фролов не любовался им, не строил радужных планов, а только как-то случайно задался восклицанием: вот, мол, куда занесло любовницу Николая Петровича!

Воображение Оли работало усиленнее — вероятно, вследствие большего ее страха. Каждый куст глядел на нее лесным зверем, вроде того медведя, на свежесодранной шкуре которого лежала она. Ей чудилось, что вот-вот выскочит мохнатка, бросится на Фролова, задерет его... Она, пожалуй, далеко убежит, пока враг справится с Митричем; она, пожалуй, влезет в это время на дерево, спасет свою горемычную жизнь... Да потом что? Ну, она пойдет, всё пойдет вперед... вот покажется где-нибудь прииск... Нет, лучше селение какое... Она придет куда — к кому тогда обратиться? Если бы чиновник попался какой — тогда ничего, можно и понравиться чиновнику, пойти к нему в сударушки... А как попадутся только женатые мужичонки? Вот горе!..

В ночи стало свежеть; костер почти совсем догорел; темь стала гуще; Фролов уснул. На Олю холод подействовал иначе: даже та повременная дремота, что охватывала ее порой при тепле костра, тут совсем ее оставила. Оле не спалось, и она каждую минуту поджидала

света и телеута. Ни тот, ни другой не приходили; да и Фролов, утомленный раною и тревожностями дня, спал без малейшего звука и движения, словно мертвый... Что-то зашумело в тайге... Оля не выдержала и начала толкать своего спутника.

— Митрич! А, Митрич!

Восклицания эти она делала шепотом, но и то испугалась своего голоса: как-то грубо и жестко звучал он.

— Митрич! Митрич! — закричала она громче.

Фролов проснулся.

— Голубчик Митрич, боюсь.

В первый раз Фролов позволил себе быть недовольным Олею: в первый раз за всю дорогу заснул он, больной, спокойно — и тут помешала она.

— Эх, Господи! Что же я сделаю? — спросил он с упреком.

— Слышишь шум? Пойдем отсюда!

— Да куда?

— Куда-нибудь.

— Некуда. Тут нам ждать сказано. Спите-ка, Ольга Александровна.

Впрочем, видя страх девушки, он заставил себя бодрствовать, пока не рассвело. Вместе с солнцем враз появился караван телеутов.

Он состоял из четырех мужчин и двух женщин. Все они ехали верхами, без седел; мужчин от женщин можно было отличить только более длинными рубахами и более широкими штанами, так как старообразные женщины не были красивее мужчин. Ехали они гуськом, причем один телеут держал на длинном чумбуре двух свободных лошадей, а в тороках у другого висел жирный баран. Добравшись на поляну, они, словно по команде, вмиг соскочили на землю.

— Вот, Александровна, и татаришки, храни их Бог! — сказал Фролов. — Теперь мы, значит, спасены.

Ставши на колени лицом к востоку, он молча перекрестился несколько раз и положил три земных поклона. Оля невольно повторяла его жесты и его благодарную мольбу. Иностранцы смотрели на эту картину с недоумением.

Когда Фролов приподнялся, к нему придвинулся вчерашний друг и, что-то бормоча, стал легко трепать его по спине; потом осмотрел рану и перевязал ее; покончивши и эту работу, он бросился собирать сучья и строить новый костер. В этих хлопотах ему помогали ос-

тальные мужчины; телеутки же, придвинувшись к Оле, оглядывали и ощупывали ее со всех сторон.

Вскоре снова жарко запылал костер, весело распро-страняя теплоту в свежий утренний воздух. Спутанные лошади бродили на окраинах полянки, щипля высокую траву; люди разместились полукругом у огня. Снятый баран был разорван на куски и жарился на нескольких вертелах, тут же приготовленных; сало от него, падая на огонь, производило треск, и запах его еще сильнее возбуждал и без того тревожный аппетит.

Когда еда была готова, старейшая телеутка вытащи-ла баклагу, вроде тыквенной, и поднесла ее Фролову. Чем-то вонючим и кислым пахнуло на последнего: там был айран, спиртной напиток из кислого молока, отвратительный для не привыкших к нему, но достолюбез-ный для кочевого инородца.

Фролов невольно скорчил гримасу.

— Ал! Ал (пей, пей), — завывала старуха.

Отказаться от угощения, обидеть за радушное при-глашение было невозможно: собравшись с духом, Фро-лов хватил изрядный глоток. Оля, до которой дошла очередь угощаться, заупрямилась, но, по совету и на-стоянию Фролова, пересилила себя и, заткнувши нос, также хлебнула отвратительной жидкости, от которой впрочем, вскоре оживилась и повеселела.

Трапеза была окончена; телеуты едят жадно, и по-этому от барана остались только кости; каждый кусок запивали они айраном и мало-помалу изрядно охмеле-ли. Фролов, к которому они начали приставать с изъя-влениями своей расположенности, едва сдерживал себя и показал, наконец, на лошадей. Жест его был понятен, через полчаса все медленно двинулись вперед, так как рана Фролова и неумение Оли сидеть на лошади не до-зволяли ехать скоро.

То подымаясь по тенигусам и на гольцы, то спуска-ясь к потокам и перебираясь по кочкаре, сделавши верст пятнадцать и поотдохнув два раза, караван стал уклоняться к большой поляне, по которой протекала широкая горная река, а на отдельном пригорке замель-кала укромная хатка и около нее часовенка с восьми-конечным крестом на верхушке. Телеуты с радостным гиком обратили внимание Фролова на эти здания; Фро-лов и Оля чуть не расплакались; они вообразили, что подъезжают к какому-нибудь русскому селенью, где найдут конец своим испытаниям.

В этом они ошиблись.

Хатка и часовенка стояли одиноко; вокруг них не было какого-либо жилья; тут «в посте, молитве и трудах» спасался еще младый летами, но получавший уже некоторую известность подвижник Егорий Калистратов Малюха, некрасивый, пухленький человечек небольшого роста с неуловимыми маленькими глазками и жиденькой бородкой.

Егор Калистратович родился в конце десятых годов настоящего столетия верстах в семидесяти от своего скита в богатой деревне, населенной раскольниками, переведенными при Екатерине II из Ветки и поэтому, даже в наши дни, называемыми поляками. Эти поляки — примерные, домовитые, богатые хозяева — расположены во многих местах Бийского округа Томской губернии, ревниво охраняют свои старые обычаи и свою старую веру, не якшаются с табашниками и далеки даже от других сибирских раскольников, именуемых общею кличкой «кержаки». Живут они мирно, занимаются хлебопашеством и пчеловодством, не бросаются на рискованные предприятия и в далекие места, платят исправно подати правительству и начальству. При Екатерининском погроме или «полоне», приравниваемом ими к пленению вавилонскому, попало их в Сибирь около тридцати тысяч; и теперь их едва ли больше: между ними процент нарождения почти равен проценту смертности. Богатство окружающей природы, а вследствие этого материальное довольство, отчужденность, замкнутость, неуклонное содержание прежних порядков необходимо налагают на их быт печать косности, порождают какую-то закаменелость. Нет поэтому между ними буйств и видимых треволнений; да зато трудно живется здесь характеру широкому, натуре предприимчивой, к чему-нибудь стремящейся, жаждущей знания, громких дел, подвигов. Единственный при этом исход для подобной натуры — аскетизм, беспощадное умертвление своего духа и своей плоти, так как религиозный фанатизм, скрывшийся под рубищем затворника или столпника, мучая человека нравственно и физически, представляет собою (только в другой форме) ту же суть, которая заставила древнего римлянина выразиться, что лучше быть первым в деревне, чем последним в городе: это тоже неудовлетворенное самолюбие, стремление чем-нибудь отличиться, выразить свою оригинальность.

Егор Калистратович принадлежал именно к числу подобных натур.

Тоший, худенький мальчик, он очень рано начал скучать однообразием окружавшей его жизни; к трудовой деятельности он не был способен по своему мало-силию; для умственной деятельности не находилось материала. Читать выучился он быстро, но слабое зрение не позволяло ему засиживаться даже над «божественными книгами»; церковные песни он запомнил очень скоро, но плохой слух и еще худший, неприятный голос лишали его возможности применить свое знание к делу церкви. Он изнывал от безделья и лет семнадцати почувствовал сильную склонность к красивой бабе, годами десятью старше его. Может статься, баба была бы не прочь побаловать с влюбленным парнем, да тут подвернулось какое-то духовное родство. Егорка, при этой неудаче, стал скучать еще сильнее и в один прекрасный день скрылся, сгинул из родного гнезда. Лет восемь о нем не было слуху; но потом пошли вести, что Егорка спасается в скиту, подвижничает. Начались розыски, и так как язык доводит не только до кабака, но и до Киева, то односельчане Егория вскоре, через ходоков, узнали местопребывание духовного труженика и лично убедились в его мудрости. Узнать прежнего мальчишку и парня было нелегко; ответы давал он до того мудреные, что самые опытные начетники задумывались над их решением. Дело в том, что Егорка во время своего неизвестного отсутствия постранствовал немало и испытал многое: он прошел половину Сибири, поглядел на Москву и Питер, сидел в лавке приказчиком, был за бесписьменность в остроге, бежал оттуда, мошенничал, пробрался в новую Ветку, о которой слышал от стариков, чуть не попал в скопцы в Тамбовской губернии, пожил не с одною бабою, и, в результате, пришел к тому убеждению, что без денег всюду жить плохо на белом свете, что нужны деньги, деньги и деньги. Опыт прошел для него не бесследно; потертый жизнью, он порешил, что вера — самая удобная удочка для темных, но богатых людей. Он и соорил себе широкий план — как стать богатым, а следовательно, сильным и именитым. Следуя своему плану, добрал он всеми неправдами на свою родину обратно, выискал себе в лесу хатку, потом сколотил часовенку; и та, и другая были очень мизерны, пока не наткнулись на них добрые люди-охотнички. Пошли разговоры о молодом затворнике; мало-помалу

число посетителей увеличивалось. Егорий обращал православных в раскол, а раскольников наставлял, что «вера без дел мертва есть»: посетители своими приношениями принялись доказывать, что исповедуют «живую веру» — и вот часовенка «божьего человека» с каждым годом стала улучшаться, украшаться, а у труженика в скрытом месте у потолка, в высверленном сучке, завелись деньжонки.

Молодой отшельник прохаживался по своей пасеке, когда увидел подъезжавший к нему караван, который принял за радетелей своих. Он живо вошел в свою хату и торопливо надел вериги, так как нередко производил ими значительный эффект. Немало подивился он поэтому, когда рассмотрел в большинстве подъехавших инородческие физиономии и потом два больных, измученных лица Фролова и Оли. «С добром ли пришли эти люди? — невольно подумал он... — Не за добром ли?»

Он вытащил из-под постели длинное старинное ружье и с ним вышел к гостям, ожидавшим его во дворе. Телеуты загалдели. Фролов, хромая, вышел вместе с Олею вперед.

— Ваше преподобие, благословите! — обратился он к Малюхе, приняв его за священника.

Егорий руки не дал.

— Бог благословит, — отвечал он. — Вы кто такие?

— Мы-то?

— Ну да.

Фролов замялся.

— Рабочие.

— Откуда?

— Откелева?

— Да.

— С прииска.

— Беглые?

— Нет, только по воле своей ходим... Вот с женою пошли да запутались... Спасибо татаршкам, что на дороге вывели.

— Тут дороги нет. Ступайте откуда пришли, а то вот чем угощу.

При этой угрозе Малюха вытащил вперед ружье.

Оля бросилась на колени...

— Батюшка! Более двадцати дней бродим, — рыдая, вопила она. — Моченьки нет... Мужа (Оля при этом покраснела) медведь царапнул, а я больна... Ба-

тющка! Позвольте хоть дней несколько пробить.

Малюха с притворным ужасом отплюнулся.

— Во образе женском змий скверный от века пребывает, от него же соблазн и всякая скверна.

— Батюшка! Смилуйтесь... Мы вам заплатим.

— А другие люди откуда?

— Провожают нас до жилья. Думала уже помереть в лесу.

— Ну, останьтесь пока; придут люди — заберут вас.

— Мы отдохнуть, батюшка, сами уйдем, — проговорил Фролов, которому почему-то не понравился Малюха.

— Да ты табашник? — спросил его Егорий.

— Курил, как было что...

— Ну, так ты и на дворе поспи.

Телеуты попрощались с Фроловым и Олей.

«А они, почитай, почище этого попа будут!» — невольно подумал Фролов, глядя им вослед...



## РАЗДУМЬЕ

Соня после долгой болезни пришла в себя. Но где же та последняя надежда, которую питала она? Где этот ребенок, на которого хотела она вылить всю свою любовь? Где он? Она одна в комнате; тут нет люльки и не слышно крика ребенка... Соня попросила Олимпиаду позвать отца.

Переченко явился не скоро — он все собирался с духом и сам не знал, что сказать дочери, предвидел вопрос, а ответа на него не имел. Да и что, в самом деле, мог он сказать?

Тем не менее, раньше или позже, отдать отчет было необходимо, и виновный отец боязливо вошел к несчастной дочери. Соня в это время забылась. Василий Максимович сел у ее ног. С какою странною мукой взглянул он на погубленную девушку! С какою невыносимой болью подумал он, что эта девушка — его дочь и что некто другой, как он сам, был причиною ее несчастья! Никогда Василий Максимович не плакал, но в эти минуты слезы готовы были градом покатиться из его глаз; сердце его судорожно сжималось; в груди не хватало дыхания. Если капля пробивает камень, то море несчастий, естественно, перевернуло весь нравственный быт Переченко, несмотря на ту кору этого быта, какую набросила и закрепила вся прошлая жизнь. И в этом человеке проснулась совесть...

Странное дело! Под влиянием именно этой проснувшейся совести Василию Максимовичу, в довершение всего уже сделанного им относительно дочери, еще раз пришлось солгать перед нею. Он сознал, что сказать ей, при ее болезни, о смерти или о гибели ребенка — все равно, что поднести ей прием быстрого яда. Поэтому, когда Соня вышла из забытья, и, обратившись к отцу, спросила, где ребенок, то Василий Максимович, сделав над собою страшное усилие, объявил, что ребенок жив, но что — так как Соня была больна — он и отдал его в деревню, здоровой кормилице.

— Поправляйся, голубушка, — сказал он далее, — тогда и увидишь его; поправляйся скорее: он тебе утехой будет, да и мне будет радостью... Пока же отдать его тебе, право, нельзя...

— Что же? Мальчик или девочка?

— Да мальчик, мальчик...

— Здоров он?

— Как же, здоров.

— Берегут его?

— Еще бы не беречь!

Соня при этих ответах, видимо, оживала, и Василий Максимович несколько не раскаивался в своей лжи. Впрочем, чтобы как-нибудь не выдать себя и прекратить тяжелый разговор, он объявил, что ему нужно идти в казначейство....

Дни шли за днями; Соня, поддерживаемая мыслью, что когда выздоровеет, то увидит свое дитя, оправлялась очень скоро.



— Когда же? Когда? — спрашивала она несколько раз отца.

— Теперь, Сонюшка, нельзя; подожди немножко: и ты слаба, и нельзя же ребенка по холоду тащить. Коли бы с ним что случилось, меня уже уведомили бы, будь спокойна. Ты вот видишь — Михайло был, а теперь его нет: я ему нарочно велел там, в селе, жить, чтобы уведомить, когда что случится.

Соня ждала терпеливо. Ее любовь была слишком высока, и мать охотно терпела, чтобы только поспешностью не повредить ребенку. Жарко молила она Бога о счастье этого ребенка да о приходе светлых теплых дней... Настали и эти светлые дни... Ребенок, однако, не появлялся. Василий Максимович на новый вопрос, на новую мольбу ответил уверткой: сами они, мол, поедут туда, то через неделю, то через месяц, то — когда получится отпуск, то когда настанут праздники и он будет свободен. Соня никак не могла предположить истины, т. е. насильственной смерти ребенка, и поэтому приискивала отказам Василия Максимовича всевозможные объяснения, кроме именно того, которое должно было существовать по факту. Она предполагала, что отец стесняется сплетнями, что отцу неловко видеть незаконнорожденного ребенка в своем доме... и — делать нечего! — интересовалась, по крайней мере, знать — хорошо ли дитяти, здоров ли он.

Переченко, само собою понятно, передавал самые утешительные сведения. Он не знал как и благодарить дочь за покорность, тем более, что только с ее стороны и боялся встретить особенные затруднения и излишнюю требовательность. Михайлы не было; с городничим он покончил и знал, что тот, как и Хлютиков, особенно болтать не будет, так как в его собственных выгодах было затушить историю, при которой нагрел свои руки... Таким образом, когда дочь покорилась, Василий Максимович считал себя вполне огражденным от всяких случайностей... Он только с ужасом видел, что ото всех его трудов остались такие тощие матерьяльные результаты, из-за которых не было ни малейшей надобности приносить столько жертв, столько унижаться, столько мучиться. Нравственное спокойствие было им утеряно, позор дочери хотя и не многим, а все был ведом, по сведении же итогов оказалась прибыль каких-нибудь шесть—семь тысяч, которые Василий Максимович нажил бы в самое короткое время без всяких утрат и мук. Пока еще

история была горяча, пока опасность висела над его головою, Переченко платил деньги без особых сожалений и размышлений; но когда все успокоилось, то немало самых глубоких сердечных огорчений испытал он именно вследствие того обстоятельства, что быстро нажитые деньги быстро и ушли, что его горе не оплатилось. Это разочарование было тяжелым ударом и сильным наказанием Василию Максимовичу, который не мог примириться с таким жалким исходом...

Впрочем, вопреки мнению Переченко, беда прошла не совсем. Новое горе вышло из такого источника, о котором он почти что и не думал. Василий Максимович забыл об акушерке, так как совершенно невидную роль играла она в несчастиях, павших на его голову... Между тем, благодаря этому микроскопическому деятелю, в Ковальске мало-помалу пошли разные толки о беременности Сони, о подкупе городничего и о тех трех рублях (вместо пятидесяти), которые она получила от «протобестии».

— Разрази меня Бог, — рассказывала она по секрету, — своими ручонками держала две бумажки, по четвертной. Таким, знаете, мелким бесом сперва рассыпался... И еще, мол, дам... А как с Андреем Ивановичем покончил, так на трынке и отъехал... А Андрей Иванович деньжищ два платка потащил, даже на сани свои меня не посадил: все их бумажками занял...

Знаменская летала из дома в дом, передавая со всевозможными прикрасами слышанное ею; в этом помогала ей Катерина Сергеевна, тоже немалая любительница почесать язык на чужой счет. Отцом ребенка Сони являлись разные личности: то ревизор, то даже Михайло, наконец, сам Василий Максимович.

— Ах, Анфиса Яковлевна, — трещала Знаменская исправнице, — как вам угодно, а уж это ревизор... потому-то дело и прошло так тихо, незаметно... Именно, матинька, ревизия поэтому, а не по чему другому, сошла с рук... Коли бы все в исправности было, то и ревизора с жандармами не посылали бы... Уж тут дело нечисто; как хотите — нечисто! И не говорите мне поперек — наверное, как Отче наш знаю... Мне даже рассказывали, когда и приходил-то он к ней: после того, как с фонарями печатали они казначейство, ревизор прямехонько к казначею чиханул...

Протополице же Знаменская держала ввечеру совершенно иную речь.

— Вот, мать моя, что значит девочку взаперти держать. Ведь живой человек — не рыба. Рыба и та икру мечет, а женщине натурально женского желательно. Ну, знаете, сидела да сидела, да с работником своим и связалась. Уж это я доподлинно знаю: сама исправница говорила!

Катерина Сергеевна рассказывала Марье Алексеевне Хлютиковой, что ей не кто иной, как дяденька Андрей Иванович о незаконном сожителстве отца с дочерью по секрету повествовал. Марья Алексеевна этому верила мало, и смутное чувство говорило ей почему-то, что это — дело рук ее благоверного; но так как благоверный держал ухо востро, отмалчивался, с домом Переченко не водился, то и Хлютикова в конце концов признала, что на грех мастера нет и что хоть Василий Максимович человек пожилой, однако и за него свою голову на отсечение не отдашь, и что всякий человек может учинить всякую скверну. Словом, сплетни перемешивались, взаимно сталкивались и распространялись елико только возможно. Менее всего доходили они до Василия Максимовича, но и тот стороной слышал о них раза два-три и вообще заметил, что не пользуется уже прежним страхом и почтением. Наконец Зубов счел необходимым повидаться с Переченко и поговорить толком.

— Что это, Василий Максимович, в нашем-то Ковальском толкуют — так уж и невозможно? — начал он вполголоса.

— А что?

— Будто, мол, детинка, что в реке нашли...

— Ну?

— Да будто он матушки нашей — Софьи Васильевны?..

— Это кто врет?

— И, батюшка Василий Максимыч, слухом земля полнится...

— Ну, так вы мне об этом не говорите, потому что такую мерзость я и слушать не желаю.

— На чужой роток не накинешь платок.

— Искровеню, коли услышу...

Зубов оборвал речь и принялся пятиться.

Тем не менее слова его тяжело запали в душу Переченко и еще более увеличили смуту, бывшую у него на сердце.

— Пользы нет, — сказал он сам себе, — а горя-то, горя-то сколько!..



## ПЕРЕТАСОВКА КАРТ

Сунгуров возвращался в Константиновку очень довольный и под хмельком, так как из виденного и слышанного им в Багуле вывел заключение, что дело оставлено Ястребовым находчиво и ловко: рапорт Луки Иринарховича не возбудил и малейшего сомнения; сам же Александр Иванович старался говорить возможно меньше, словно тяжело было ему повествовать о деле, в котором замешана собственная дочь; поэтому он и не испортил хорошего впечатления с лишними или противоречащими подробностями. Нужно прибавить к этому, что уловка Ястребова с ее удачным исходом подействовала на подчиненного очень внушительно.

— Господи! — рассуждал в дороге последний. — Ишь ведь дошлый какой стал в малое время!.. Давно ли, как младенец, двум свиньям корму не умел раздать, а теперь — здравствуй, милый, трех бороров в одном кармане упрячет...

Размышляя дальше, он облек свою пьяной фантазией Ястребова в какую-то таинственную мантию недосягаемого ума и, порешив, что подобный гений необходимо поднимается высоко, он и для себя начал готовить теплое и почетное местечко.

— Не забудет меня Лука Иринархович, нет, не забудет! — повторил он несколько раз.

Переступив через порог дома и тотчас же узнав о

побеге дочери, Сунгуров остолбенел. Лизавету Михайловну он застал больной и плачущею, никак не мог добиться от нее отчета о происшедшем в его отсутствие, да и сам не находил причины непредвиденного побега. Он не мог предположить, чтобы дочь серьезно обиделась за ту потасовку, которую он учинил перед отъездом; он не видел также какого-либо участия Оли в покушении Гурина на жизнь Ястребова... Зачем же было бежать? Разве испугалась следствия? Положим, и спросили бы ее о связи с убийцею, — что ж из этого?

Сунгуров кинулся к управляющему. Ястребов, в свой черед, не сказал ему чего-либо утешительного или пригодного для объяснения дела, вследствие чего Александр Иванович только охал, качал головою да разводил руками, так что вывел из терпения своего начальника, предлагавшего ему вопросы о том, как был принят рапорт в Багуле.

— Ну, что же сказал генерал? — спросил Ястребов.

— Ничего не сказал.

— И ничего не спрашивал?

— Очень удивился только...

— Чему?

— Что дочь убежала...

— Что ты врешь? Как убежала? Ведь она тогда еще не бегала; ты уехал, она еще тут была.

— Тут-то она тут была, а приехал — нет ее...

— Да ты что: с ума сошел? Его спрашивают о деле, а он отвечает черт знает о чем...

— Уж очень меня этот побег, Лука Иринархович, в поражение приводит.

— Экой, подумаешь, чадолюбец! — с досадою произнес Ястребов. — У тестя был?

— Был.

— Тот что?

— Говорят, чтоб приезжали.

— Куда?

— В Багул, должно быть.

— Зачем?

— А вот, чтобы все рассказать; без вас, говорит, не можно понять — и как застрелили, и как дочь убежала... и я вот этого вдомек не приму — как она убежала и куда?

— Ты не нализался ли с горя?

— Эх, Лука Иринархович, то есть так и поражен, что без вина пьян, совершенно пьян!.. Ведь я тоже

отец!.. Ведь у меня Оленька одна была!.. Теперь ее нет!.. Всякому станет жалко свое детище!.. Ведь я бы ей все дал, зачем же, зачем бежать было нужно?.. Ну, я побил ее, крепко побил... да разве же другие отцы не бьют? А вот от них не бегут, даже когда много их... Я одевал ее, посмотрите, как для нее наживал, думал за какого хорошего человека, чиновника, отдать, на старости утешением иметь... и убежала!.. Как же? И когда убежала — вот что удивительно... И теперь — как без нее нам всю эту механику устроить, т. е. вот насчет Гурина и насчет господина Анзарова? Что мы без нее?.. Ведь мы пропали... Она не скажет — и никто не поверит...

Ястребов во время этой тирады задумчиво шагал по комнате.

— Однако, Сунгуров, я вижу, что ты чувствительный человек, — с язвительной усмешкой перебил он, наконец, тираду, — я в тебе такой нежности и нервности не предполагал; ты просто в драму Кобецу годишься... Но, я думаю, ты, проспавшись, вернее отчет дашь о поездке... Бумаги какой-нибудь ты не привез?

— Как не привез! Бумаги со мною.

— Черт же ты этакой! С этого и начал бы! Давай!

Сунгуров передал управляющему официальный вызов в Багул, а сам отправился домой.

— Расскажи же мне, Лизанька, — приставал он к жене, — расскажи, как она ушла?

— Ах, Александр Иванович, — всхлипывая, с перебивками отвечала Лизавета Михайловна, — не мучь мою душеньку расспросами. Встаю я, знаешь, утром, встаю... Сердце, слышу, что-то болит, словно беду чувствует... смотрю: что это Оленьки нет? Думала, не вышла ли куда... Жду — все нет... Я туда, я сюда — все нет... Ах ты, Господи, — что такое?.. Опять смотреть — нет ее, голубушки, нет... Я так и взывала: бегаю по прииску, как шальная... скрючило меня...

— Неужели же никто не видал, куда ушла она?

— Нет, не видал... Платышка два взяла — и сгинула.

Лизавета Михайловна почему-то не сказала мужу, что Оля захватила с собою и деньги.

Сунгуров окончательно растерялся и машинально пошел к разрезу. Его фигура была и смешна, и жалка. Шел он без цели и без мысли, понутив голову и не слыша ни насмешек над собою, ни слов утешения.

— Что, брат, дочку просвистал, — говорил вслед ему вполголоса один рабочий, — это, брат, тебе за твои добрые дела.

Сунгуров шел дальше.

— Милости просим и напредки с такими подарками; очень мы такие шутки любим! — поддержал другой рабочий.

И этого не слышал Александр Иванович, только приостановился, сел на край разреза и подпер голову обеими руками: он плакал.

— Кажись, плачет! — неловко сказал прежний насмешник.

Рабочие пристальнее взглянули на съезженную фигуру своей грозы. Кто-то рассмеялся.

— Да что вы, такому вору, как Сунгуров, — возразил он, — верите: сам дочь, должно, в непутное место свез, а тут, значит, в жаль играет, слезы горькие утирает...

Часть рабочих улыбнулась, но на некоторых, несмотря на нерасположение к Сунгурову, неподдельное горе произвело свое впечатление, и они начали жалеть бедного отца.

— Что, братцы, над ним кочевряжиться: человека, видать, туга давит, а над ним смех строят... Нехорошо, не след. Ведь он отец, да и дочь одна...

Недвижно просидел Сунгуров на месте около двух часов, потом тяжело приподнялся и вернулся домой. Тут он и не подумал приняться по обыкновению за ужин, зато к шкапчику стал подходить ежеминутно... Большая, уемистая рюмка глоталась за рюмкой, но утешения в ней, видимо, не было, так как лицо Александра Ивановича делалось злее, непригляднее, жесты размахистее, грознее. Мало-помалу почти с кулаками начал приставать он к жене, спрашивая, куда та девала дочь, и требуя, чтобы сейчас же отыскала ее. Лизавета Михайловна просто испугалась мужа.

— Ну, коли ее нет, — плача отвечала она, — откуда же взять ее тебе? Ты сам видишь, какая я... Разве я враг ей, что ли? Сама бы, чай, хотела повидать голубку...

— Подай! — орал Сунгуров. — Подай! Ты — мать, ты должна смотреть!..

Требования свои он кончил тем, что избил жену и только тогда заснул тревожно и болезненно.

На рассвете за ним прислал Ястребов. Очнувшись

при помощи холодной воды, Сунгуров явился к управляющему и застал его за укладкою, увязыванием и припечатыванием вещей. Белье, платья, книги, туалетные принадлежности были уже затюкованы. Ястребов выслал вон помогавших ему людей.

— Слушай, Сунгуров, — заговорил он, оставшись вдвоем, — скажи прежде всего по совести: пьян ты или нет? Можешь ли ты выслушать меня и запомнить сказанное?

Сунгуров подавил пальцами виски и ответил через несколько минут, что выслушает и запомнит.

— Ну, так дело вот в чем: каша, что мы варили, перекипела, ее приходится расхлебывать. На попятный идти нам нельзя... Как и что будет — я не знаю, но что бы ни было — держись уж того, что раз сказано... Зато и я от своего не отступлю... Пройдет беда — я обещаю не забыть тебя; всюду, где буду, припомню тебя...

Ястребов остановился.

— Понимаешь? — спросил он, помолчав.

— Понимать-то, Лука Иринархович, я понимаю, — да как с сердцем своим справлюсь!

— Справляйся, ты не баба.

Сунгуров сильнее прежнего подавил виски.

— Я сегодня еду, — продолжал Ястребов, — распорядись всем осторожно. Может, придет кто вместо меня — не ударь лицом в грязь... Слышишь: я прошу тебя!

— Слышу.

— Если я не возвращусь, — вещи мои запечатаны — вышли их в Багул... Да и сам ты не худо сделаешь, если оставишь Константиновку... И это понимаешь?

— Без вас, Лука Иринархович, что я тут за человек!..

— Ну, смотри же.

При этом, придвинувшись к Сунгурову, Ястребов взял его за голову и поцеловал три раза... нельзя сказать, чтобы он сделал это без внутренней гадливости.

Через четверть часа, когда еще далеко не все рабочие вышли на первый звонок, Лука Иринархович уже выехал из Константиновки. На его сердце было не особенно легко. Свежий утренний воздух будил и бодрил мысль; только мысль эта не горела радужными цветами. Наполовину пожелтевший лист упал с дерева к ногам Ястребова. При повороте тарантас сильно ударился о



высунувшийся корень корявой березы. Лошади с усилием плелись по тенигусу.

«Вернусь ли я сюда?» — почему-то подумал Ястребов и, высунувшись из тарантаса, захотел еще раз взглянуть на покидаемый им прииск.

Константиновка скрылась за чащею; не только жилья не было видно, но даже столб с флагом у разреза не высывался из-за деревьев.

— Что и смотреть! — порешил, наконец, Ястребов. — Равно, добром не вспомнят!

А Сунгуров, давши слово, старался его сдержать. Не раз еще днем его тянуло к шкапчику, но он перемогался. Впрочем, когда прииск заснул и настала вокруг ненарушимая тишь, его охватила какая-то безумная тоска.

— Нет, выпью, — порешил он, — хоть немножко... Может, засну.

Рюмку было трудно сыскать и, найдя графин, он потянул водку прямо из горлышка...

С этой минуты в течение нескольких дней он пил непрерывно, пил горькую. Как ни упрашивала и ни умаливала его Лизавета Михайловна, как даже ни прятала она спирт, Александр Иванович шумом и дракою добивался исполнения своей воли; пил, все пил, до бреда, до изнеможения. Прииск для него не существовал.

Рабочие сначала делали что могли, но потом, видя безобразие начальства, сами бросили работы; рыли только то, что хотели, крали золото; какой-то смельчак, пустившись в путь-дорогу, привез бочонок спирта — и пошла дикая, неудержная гульба, так что мало-помалу весь прииск стал более походить на убежище сумасшедших, чем на благоустроенное казенное хозяйство с его солдатской дисциплиной.

Лизавета Михайловна, уже и прежде расстроенная, теперь положительно не знала, что делать. Яркое солнышко весело шло по небу; широкий луч, сквозя через стекла окна, играл на физиономии Сунгурова, валявшегося на полу. Она, сидя у ног мужа, могла только плакать. Вдруг Александр Иванович, сумрачный, говоривший только сиплым, дребезжавшим, могильным голосом, неожиданно рассмеялся и начал строить хитрые гримасы. Эта веселость странно подействовала на Лизавету Михайловну.

«Господи! Что это такое? — подумала она. — Али приходить в себя начал?»

Сунгуров улыбнулся еще раз и, шутливо толкнув жену в бок, пальцем указал ей на окно.

— Видишь? — спросил он.

— Что, Александр Иванович?

— Да видишь?

— Ничего не вижу...

— Да вон-вон, в окне, через щель...

— Что с тобой?

— Языки показывают, хвостиками виляют...

Сунгуров начал неудержно хохотать и ударять рукою в такт, на мотив знаменитой «Барыни».

— Бог с тобой, Александр Иванович, — крестя себя и мужа, восклицала Лизавета Михайловна.

— Не мешай, Лиза, не мешай... чертики, право, чертики... да какие маленькие, да какие хорошенькие!.. Ишь, мерзавцы, рожи делают... бесенок на бесенке... и хвостами-то, и хвостами-то.

Приподнявшись, Сунгуров посмотрел в окно.

— А там-то, Лиза, на дворе что! — радостно закричал он... — Господи! Еще лучше!.. Смотри, смотри, Лизавета Михайловна, — свинья-то на нашей буренушке верхом едет... Как раз за рога, стерва, ловко держится!..

Лизавета Михайловна выбежала на улицу.

— Помогите, — вопила она, — пропадает! Пропадает! Совсем спятил! Ох, бедная моя головушка!

Перед нею остановился пьяный рабочий.

— Кто пропадает? — спросил он серьезным тоном.

— Муж, Александр Иванович!..

— Туда ему и дорога! — ответил рабочий и пошел дальше.

Плача и воя, обращалась она к другим рабочим, но от них встречала не более ласковый прием. Наконец человек пять, посовестливее и трезвее, вместе с Лизаветой Михайловной вошли в дом. Александр Иванович лежал навзничь, глаза его дико блуждали, в руках у него был нож, которым он усиленно размахивал.

— Ольгу подайте! — кричал он... — Не подходи!.. За режу!.. Куда дочь девали?.. Убью!

Все попятись.

— Господи! Что же тут делать? — пуше прежнего завывала Лизавета Михайловна.

Один из рабочих как-то ловко ринулся прямо на грудь Сунгурова и хватил его за руки... По примеру этого смельчака и другие сочли своим долгом приняться за усмирение начальника, вырвали нож и начали свя-

зывать его... Минут через десять Сунгуров лежал недвижно, привязанный к кровати и облитый водою.

— Ну, что там? — спрашивали выходящих.

— Ничего, братцы, начальство усмиряли.

— Важно!

— Небось, угощение было?

— Обтрескаешься...

— А я, братцы, так не стерпел: крадучись, кудели-то надергал.

Рабочий при этом рознял пригоршню: в ней лежал целый клоч рыжих волос с запекшейся кровью.



## ЧЕМ ДАЛЬШЕ В ЛЕС — ТЕМ БОЛЬШЕ ДРОВ

Начальником заводов и в то же время местным губернатором был небольшой старичок, кругленький, как шарик, румяный, как яблочко, и на ходу переваливавшийся с ноги на ногу. Он отличался необыкновенным добродушием, незамысловатым *bons mots*, густым бархатным смехом и любовью жить крайне широко. Благодаря последнему качеству, он, несмотря на исправное получение всяких законных и незаконных доходов, никогда не мог похвалиться особенною состоятельностью: что им наживалось, то и проживалось. Зато подчиненные не чаяли в нем души, и так как генерал прежде всего заботился о беспечальном времяпрепровождении, то они тщательно устранили от него мрачные и просто неприятные картины, смешили его анекдотами и историйками, позволяли ухаживать за своими женами (опасности не предвиделось), устраивали для него пикники и полевые прогулки и шумели на его *jeune fixes*, назначенных по воскресеньям.

— Я, друзья мои, эпикурей, — говаривал в минуты

откровенности генерал, — да, эпикурей, люблю повеселиться... Мне даже хоть соври, прямо в глаза соври, только соври приятно... Приятную ложь я предпочитаю неприятной истине... Что в ней?

Генерал при этом добродушно пожимал плечами.

Соединяя в своем лице две должности, он званию местного администратора не давал какого-либо значения и все гражданские дела предоставил безапелляционному решению советников губернского правления и начальников отделения общегубернского присутствия.

— Я человек горный, — пояснял он свое невмешательство, — да, горный: из грязи добываю золото, обращаться поэтому золото в грязь не мое дело... На это есть свои мастера!

Августовский день был жарок и душен; гости, собравшиеся к генералу на *jour fixe* часов с восьми вечера, отправлялись по приглашению хозяина в маленький, но тенистый и живописно-разбитый садик, находившийся за домом. В воздухе стояла тишь. В открытой беседке и по дорожкам горели разноцветные фонарики, придававшие картине действительно праздничный характер. В беседках же и на площадках были расставлены ломберные столики, на которых гости убивали время за пикетом, вистом и бостоном. Сюда собирались все сливки багульского общества. Генерал перекатывался от кружка к кружку.

— Ваше пр-во? — обратился к нему Обыдович.

— Ну-с?

— Изволили слышать, как здешний исправник объяснил жене Анатолия Федоровича изготовление пушек?

— А что?

— Лариса Константиновна спросила его: как пушки льют?

— Ха-ха-ха! Проказница! Пушки льют! Отчего же не колокола?

— Да, пушки льют.

— Объяснение! Объяснение!

— Очень просто, сударыня, — ответил этот Дидерот: — берут, знаете, дырку и обливают ее медью.

Генерал чуть не задохся от смеха: пухленькое тельце и двухэтажный подбородок то и дело подпрыгивали.

— *Charmant! Charmant!* — насилу произнес генерал. — Этот анекдот миллион рублей стоит. Я непременно в Багуле вызову этого мудреца, чтобы он сам рассказал мне, как пушки льют.



942

— Он не так глуп, ваше пр-во, как повествует о нем Обвыдович, — заметил Замурзуев.

— Факт!

— Играл он, ваше пр-во, в Ирбите...

— А!

— Один из партнеров, какой-то тюменский купец, остался должен столу рублей тысячу. Встает: за мной, мол. Объяснителю пушек это не понравилось...

— Понятно.

— Он посмотрел на купца, взял со стола две свечи и...

— Ударил?

— Нет, ваше пр-во, осветил ими купеческую спину: я, говорит, за вами ничего не вижу... Тот смешался: деньги, мол, за мною. — Вот их-то я и не вижу...

— Неглупо, мой Бог, неглупо... За мной, — а за ним и нет ничего! Ха-ха-ха! Он, право, не глуп...

— А изволили, ваше пр-во, слышать, — заговорил опять Обвыдович, что в Иркутске с знаменитым Алоизием Шепетицким случилось?

— Слушаю, слушаю.

— Он, как изволите знать, тоже исправником лет тридцать пять служил и составил недурное состояние.

— Это тот, что женат на родственнице Арова?

— Именно. Видно, супруге своей надоел он: та объявила его сумасшедшим и просила освидетельствования в губернском правлении. Освидетельствовали... и признали — не сумасшедшим, а глупорожденным.

— Ха-ха-ха! Mais c'est impossible!

— Положительно, верно.

Генерал, благодаря таким анекдотам, был в прекраснейшем расположении духа, когда в садик вошел тесть Ястребова и невольно напомнил собою историю на Константиновке. Поздоровавшись с гостем, генерал отвел его в сторону и, взявши за третью пуговицу, спросил:

— Ну, что и как?

— Жду, ваше пр-во, не сегодня-завтра, каждую минутку...

— Да, да! Нужно *à la fin des fins joindre les deux bouts*... Вы понимаете, что никого из своих не позволю затемнить, но все же, как в Петербурге посмотрят?.. Дело, пожалуй, до Государя дойдет.

— Министр расположен к нам, ваше пр-во...

— *La pire chose*, что убийца тоже умер, — *donc, tout est en brouillard*...

— По-моему, ваше пр-во, тем лучше: l'affaire n'est pas embroullée и поверять нечего, — следовательно, остается только исполнить формальности.

— Кого же послать? — спросил генерал, немного помолчав. — Не поедете ли вы?

— Si vieillesse pouvait...

— То-то! Et si jeunesse savait... Пожалуй, анзаровская история повторится... Разве Замурзуева?

Отношения последнего к Ястребову были более или менее всем известны, и гость невольно сделал гримасу.

— Против него лично, — сказал он, — я ничего не имею, но...

— Нет, нет! — поспешил добавить генерал. — Pas de mefiance... Ему можно дать строгую инструкцию.

— Разве...

— Притом je vais charger votre gendre d'une mission pour Petersbourg. Il est un homme habile, — все может сам устроить прелестно... Да, да! Может так устроить, что и вернуться к нам не захочет... Тогда, Замурзуев...

— Стало быть, ваше пр-во, недовольны моим зятем?

— Фи, мой Бог! Что за вопрос?

— Так я попросил бы ваше пр-во подождать его приезда.

— Охотно.

Перекинувшись еще двумя-тремя фразами, гость и хозяин оставили разговор о деле и порешили составить партию в вист; тесть Ястребова заявил, что хотя он и нездоров, но переможется; генерал, в свой черед, обещал угостить выписной лососиной, которая сама тает во рту. Эти заявления не помешали, однако, робберу последовать за роббером, со шлемами, коронками и прочими прелестями виста при двойном счете.

В час, когда все партии были кончены и гости сидели уже за ужин, нежданно появился Ястребов; он мерно, не спеша подошел к генералу.

— Прошу, ваше пр-во, извинения за поздний приход, — обратился он к хозяину, — только что приехал и, несмотря на усталость, поторопился явиться.

— Мой Бог, Ястребов, вы говорите так торжественно, что я начинаю тревожиться: не случилось ли еще чего?

— Нет, ничего, все спокойно.

— Ну и отлично: будьте же просто добрым гостем, одно место вам против меня, другое рядом со мной, третье — где хотите, выбирайте любое.

Ястребов, пожавши всем руки, уселся около М-те Эрнос.

Если генерал когда-нибудь не любил неприятной правды, то именно за столом. Нельзя не отдать ему полной справедливости в том, что он был не только «эпикурей», но и просто обжора; гоголевский помещик Петух, по всей вероятности (хотя история об этом и не упоминает), приходился ему единоутробным братом. Генералу было мало только прожевывать и глотать пищу, но он любил еще предварительно настроить свое воображение гастрономически: только запасшись достаточно дозой похотливой слюны, он клал в рот заманчивый кусок и наслаждался его вкусом и ароматом. Усаживался он всегда между такими же любителями покушать, каким был сам; тесть Ястребова был поэтому почетным гостем за его столом. Тут разговоров не велось. Ястребов, не желавший попасть в перекрестный огонь расспросов, расцел очень верно, явившись прямо к ужину: никто не посмел упомянуть даже имени Анзарова.

После целого ряда предъявлений, орошенных и мадерою и портвейном, подали, наконец, знаменитую лососину, о которой генерал повествовал с каким-то благоговением. Рыба, действительно, оказалась великолепю: приятно-розовое мясо ее величаво покоилось в волнах пикантного соуса; приготовленные гарнир, сервировка — все показывало руку маэстро; генерал, созерцая блюдо, обратился в любовь.

Тесть Ястребова заметил, что зять его, слишком много болтая с соседкой, манкирует ужином, и, зная, что от расположения генерала зависит характер завтрашнего делового объяснения, как добрый родственник, с особым апломбом, положил себе двойную порцию лососины.

— Молодежь не умеет жить, — вполголоса и с благодарным взглядом сказал ему за это амфитрион.

— Очень тяжелая пища, особливо на ночь, — смешался Обвыдович, чтобы оправдать себя.

— Эх! — возразил достойный товарищ хозяина, — разве вы не русский человек? По пословице: ешь — пока живот свеж, а как завянет — ничто туда не заглянет...

— *C'est la vérité elle-même!* — добавил генерал.

Вследствие этого в переднем углу началось образцовое чавканье, кончившееся, однако, несколько трагически. Когда часу в третьем стали вставать из-за стола, тесть Ястребова только покачнулся, но не кинул своего



места: лицо его искривилось, губы передернулись на сторону, и на них показалась пена; из груди слышалось хрипенье. Все испугались не на шутку.

— Что это? Что это? — едва проговорил побледневший, как скатерть, хозяин. — Ах, Господи!

— Должно быть, генерал от артиллерии Кондрат Иванов, — через зубы прошипел Замурзев.

— Скорее доктора! Кровь пускайте!

Поднялась неписуемая суета. Дамы, кое-как надевая шляпки, бросились вон; с м-ме Эрнос учинилась истерика; Обвыдович возился с генералом; Ястребов, при чьей-то помощи, вытащил туловище тестя из-под стола, куда оно скатилось, расстегнул на нем сюртук, оттирал виски и спину, лил на голову воду. Несмотря на эти усилия, храп все более и более получал характер предсмертных звуков; тучное и тяжелое тело теряло свою теплоту. Когда появился доктор, тесть Ястребова не представлял уже никаких признаков жизни: удар оказался моментальным и смертельным. Доктор признал излишним все меры, и потому труп, под надзором Ястребова, был отправлен домой.

— С каждым часом не легче, — машинально повторял генерал гостю, подходившему проститься. — Ведь все было хорошо, аппетит прекраснейший... и вдруг...

Гость выслушивал этот плач молча и почтительно. Только Замурзев, по обыкновению, не стерпел.

— Кондрат Иванов, ваше пр-во, шутить не любит...

Генерал так растерялся, что даже раздевавшему его по уходе гостей лакею повторил о том, что как было все хорошо, какой аппетит был прекрасный... и вдруг...

Он навсегда запретил подавать лососину...

Ястребов же приехал домой, когда жена еще не спала, и, несмотря на печальное событие, был внутренне далеко не грустен. Еще дорогою мелькнула ему мысль, что теперь он совершенно свободен и обеспечен и что наконец-то давно желанный миллион попадает в его руки. Поэтому еще дорогою он вынул из карманов тестя все ключи и бумаги. Передавая жене труп отца и попросив распорядиться, чем нужно, он быстро прошел в кабинет покойника и принялся за тщательный осмотр ящиков и сундуков. Все деньги он собрал в кучу, увязал в простыню и задумался.

— Но ведь это не мое? — проговорил он сам себе. — Я опять ворую.

Раздумье продолжалось недолго.

— Опять subtilности! — с усмешкой заметил он. — Воровал в казне, а она мать, — почему же не обокрасть жепу или родственников? Притом ведь это миллион!.. Ты, Лука Ястребов, не мелкий вор... Бери! Бери! Перед тобою теперь все открыто... Всюду тебе дорога... Тебе, Лука, министром быть... Пожалуй, будь потом честным человеком... Можешь.

И он запер все ящики, уложил на место все бумаги, кроме найденного духовного завещания, и, схвативши узел и стараясь быть никем не замеченным, прокрался в свою комнату, где выбросил из чемоданов разные вещи и запаковал туда деньги.

— Теперь все мое! Теперь я барин! — невольно подумал он и пошел к жене, истерично рыдавшей над отцовским трупом, уже омытым и облаченным в мундир и регалии.

— Милая! — обратился Ястребов к ней. — Тут нужны какие-то формальности... Я их, право, не знаю; притом у меня голова идет кругом; пошли позвать кого-нибудь, чтобы сделали опись, что ли... Ведь ты же наследница, пусть не будет у тебя с другими каких-либо ссор из-за грошей...

— Ах, Lucien, я просто умираю...

«Было бы и это не худо!» — подумал Ястребов.



## ПРОСВЕТИТЕЛЬ

Трудно определить мотивы, по которым Малюха дозволил Оле и Фролову остаться в его владениях хотя бы на несколько дней. Что тут человеколюбие не играло самой ничтожной роли — это верно. Егор Константинович не питал в сердце своем к кому-либо ненависти; зато и любовью не согревалась его душа: он, несомненно, не

ударил бы палец о палец, чтобы спасти даже родного отца от голодной смерти, — ему что за дело! Ведь он сам, без помощи других, таскался по белому свету, сам выбирался из опасностей, сам добывал кусок хлеба и средства свои, сам приискал план будущей жизни; поэтому он и другим предоставлял самим заботиться о собственном спасении... Кажется, на него приятно подействовала фраза Оли о том, что она заплатит за кров: при этом условии почему же не продержат и не прокормить странников? Кажется также, что Егором Константиновичем руководил и другой расчет: он сам воочию видел, что отчаяние доводит до всего; не поможет он мужику и бабе — они, пожалуй, убьют его с помощью инородцев или подожгут хатку с часовенкой. Пусть, в последнем случае, лично он спасется, да тогда пропадут результаты его трудов, расстроится его план!.. С другой стороны — сильно смущал его Фролов: черт знает, что за человек этот здоровый, оборванный и пораненный мужик?! Да и баба-то не принцесса-какая: больная, беременная, вся в лохмотьях...

Тем не менее, какими бы основаниями ни поддерживал Малюха эшафодаж своих соображений, сенцы его избушки были предоставлены Оле. По совету Фролова, последняя натаскала туда травы и листья, набросила на них медвежину, устроила себе таким образом постель и, утомленная непривычною верховою ездою, живо заснула славным, восстанавливающим и укрепляющим сном. То же сделал Фролов за избушкой, в надсолнечной стороне. Рана его, благодаря заботливости телеута, перестала беспокоить и, видимо, заживала.

Неизвестно, что делал Малюха, когда оставался один, без свидетелей и слушателей; но при гостях он, почти в течение целого дня и большей части ночи, тревожил Бога, себя и окружающих: то в часовенке, то в комнате своей он то и дело распевал (хотя нескладно и неверно) тропари, каноны и псалмы; его гнусное пение разносилось далеко, и Фролов, несмотря на инстинктивно возникшую в нем неприязнь к своему хозяину, смирился перед его набожностью, а Оля на третье утро сочла своею священною обязанностью покаяться в заблуждениях прошлой жизни и вручить ему все бывшие при ней деньги, около шестисот рублей. Егор Константинович после этого обстоятельства стал к ней крайне благоклонным, тем более что отдых и относительное душевное спокойствие восстановили силы и миловидность де-

вушки. Малюха не только не побранил ее за незаконную связь, за бегство от родителей, но даже привел несколько казуистических текстов писания о невозможности насиловать душу свою и о праве человека посвятить себя какому-нибудь делу вопреки родительской воле. Притом молитва все покрывает. Оля незаметно и скоро почувствовала умственное превосходство над собою. Малюхи и преклонилась перед ним; она тоже начала молиться по целым дням и усердно вторила своим маленьким голоском козлогласованью отшельника.

Фролов дивился всему происшедшему. Окончательно оправившись от ран, он помогал в хозяйстве, рубил дрова, таскал воду, городил, по приказанию Малюхи, забор около избы и часовни — словом, оказался полезным работником. Тем не менее Егор Константинович держал его в черном теле и подумывал, как бы скорее расстаться с ним. Фролов и сам помышлял пуститься в дальнейший путь, чтобы добраться до города; только он никак не предполагал отправиться без Оли. Бродя с нею по тайге, перенося для нее всякие невзгоды, служа ей чистою мыслью и крепкими мышцами, он сжился с нею, привык к ней, говоря проще — полюбил ее в несчастии и не предполагал, что наступят и такие дни, когда он сделается ненужным, лишним. Между тем, как только он заикнулся Оле, что пора, наконец, идти дальше, та посмотрела на него такими удивленными глазами, что ему сделалось невыносимо больно, словно кто-нибудь охватил в это время его голову тисками.

— Нет, Митрич, ты иди, а я пока останусь у отца Егория, — добавила она к своему взгляду.

— Как же так, Ольга Александровна, ведь вместе шли...

— Нет уж, благодарствуйте. Отец Егорий обещал, что отправит меня к своим сродственникам, там и рожу... Куда мне с тяготой такой еще шляться...

— А потом что? Ведь век целый у монаха-то прожить не приходится...

Фролов, говоря это, дрожал и глотал слезы...

— А уж там — как Бог велит... Может, сама в монахини пойду... Ишь сколько нагрешила!

— А ребенок-то как же?

— Добрым людям отец Егорий обещал отдать... Где мне с ним нянчиться: ты видишь, какая я слабая.

— Эх, Ольга Александровна, передумаете...

— Уж чего тут, Митрич, передумывать... Говорю

тебе — я слабая... Мне как простой бабе нельзя; не к тому я приучена.

— Почитай, месяц по тайге бродили же.

— Вот выдумал! Приятность какая!

Фролов глубоко-глубоко вздохнул.

— Как же я-то? — спросил он, потупившись.

— Право, Митрич, не знаю... До города дойдешь, в работники наймешься: вишь ты силач какой!

— Ольга Александровна! Матушка! Да ведь я без вас пропаду: мне и жить-то без вас невозможно.

— Вот глупости! Это с чего ты выдумал? Мне даже обидно это.

— Обидно!.. Э-э-эх!..

Фролов отвернулся и быстро ушел в чашу.

Какую благодать застал он там! Солнце, кое-где еще оставив росу, горело в каплях чистейшими брильянтами; высокие, густые деревья покачивались легким ветерком, шелестели какую-то безличную песню, полную мира и сладости; бледно-синее небо невозмутимо глядело на землю, не омрачаемое даже каким-нибудь мимо бегущим сквозным облачком; холодный ключ тихими тонкими струями падал с камня на камень; божья коровка неспешно вползала на жирolistый лопух... Ни одного резкого звука, ни малейшего судорожного движения, которыми выражались бы борьба и страдание...

Однако эта тишь не утешила и не успокоила Фролова: крупные слезы падали из его глаз; сердце щемило, и он сам не знал, что с ним делалось. Какие-то дикие мысли и образы приходили ему в голову. В этих мыслях Оля раздвоилась: вместо одной их стало две... Тут, рядом с ним, сидела хорошая, ангельски добрая девушка, которую он любит, которую должен беречь, которая зовет его, с которой он — одна душа; а там где-то, подле Малюхи, другой человек, что плюет на бедного Митрича, какая-то гадина, у которой и слова человеческого нет, какая-то кикимора с змеиными глазами и острыми клыками, что думает высосать его сердце, напиться его крови.

Последний образ так живо представился глазам Фролова, что тот вскочил и перекрестился. Виденье исчезло, но сердце все же рвалось на части и невыносимо ныло.

Фролов вернулся назад. Не доходя сажен тридцать до избы, он услышал двухголосное пение «Помилуй мя, Боже». Голос Малюхи выходил с каким-то жестким, су-

хим присвистом, способным раздражить самое немзыкальное ухо.

Фролов невольно плюнул.

«Вот она, кикимора-то», — сказал он себе; и в его голову пошли новые мысли.

«Убью я этого монаха! — начал он думать. — Выйдет Лександровна из-под его нечистой силы, а то обошел он ее. Со мною пойдет... Станем жить...»

Он припомнил при этом, что Малюха и крестится-то иначе, как он видел с детства, и поклоны-то бьет не так, как кладут истинные христиане, и что поет неприглядно, и власть над людьми имеет, и одет особенно.

Пение замолкло; минуты через две Оля вышла из избы с кувшином за водою. Фролов не стерпел и перерезал ей дорогу.

— Ольга Лександровна, — горячо говорил он, — я вот что надумал: поп-то этот, должно, с нечистыми снюхался.

— Что ты, что ты, Митрич, в своем ли уме — болтунов высиживаешь?

— А так. Я это раз заметил.

— Полно молоть, а то сейчас отцу Егорию скажу...

— Меня этим испугать нельзя; я убить его хочу — вот что!

Оля испугалась.

— Митрич! Побойся Бога: святого-то человека...

— А зачем святой человек бабу-то у себя оставляет? Нет, это дудки!.. Иль уйдем от него, али я его покончу...

— Да что, Митрич, — я сама не хочу идти... Ты мне не родитель, чтобы я по-твоему делала. Ты и думать не смей, чтобы надо мною властвовать как-нибудь... И что ты мне! И смотреть-то на тебя теперь мне тошно.

Фролов опустил руки, а Оля побежала в избу и лихо-радочно передала Малюхе только что происшедший разговор. Егор Константинович раза три прошелся по комнате, погладил голову, почесал бороду и перекрестился.

— Девица милая! — сказал он с расстановкой. — Друг твой истину глаголет...

Оля ударилась в слезы.

— Что вы, батюшка! От вас, от спасенья своего, я никуда не уйду...

— Неразумие, девица, вопиет в тебе: спасенья жаждешь, егда не наступил час его... Придет час — и по воле твоей сотворится; ныне же воздай Кесарево Кесарю, — Господь же о своем потерпит.

Оля стала рыдать громче.

— От бремени своего разрешишь, девица милая, мир мирови сотвори, — продолжал Малюха. — Иди ты с другом своим к сродственникам моим — дам тебе я грамоту к ним — и да будет воля Господня над тобою. По времени же извещу я тебя.

Оля упала ему в ноги.

— Батюшка, отец Егорий! Хоть убейте — не уйду от вас.

— Не спасешься, душу погубишь... При тяготе-то твоей, милая девица, возможно ли Господу служить достойно и праведно?..

Фролов, которому Оля передала потом приказание Малюхи, изумился обороту дела, но, отправляясь на следующий день с прежнею спутницей и письмом Егория, он поклонился последнему в ноги и попросил благословения.

— Бог благословит, — ответил Малюха.

Плачущей же Оле он дал поцеловать свою руку и в то же время шепнул ей на ухо:

— Жди — извещу.



## У ПОЛЯКОВ

Одна из слобод, населенных исключительно так называемыми «поляками», имела кличку Семиложья, включала в себя около ста дворов и была раскинута по обеим сторонам небольшой речки, на неровной логовой местности, там и сям поросшей добрым полустроевым лесом. Правым берегом тянулись избы побогаче и поно-

вее, с большими завознями и амбарами, с вырезными окнами, с фигурными балкопчиками и высокими крышами; на противоположной стороне, между хорошими хозяйственными жильями лепились и ветхие покосившиеся избушки, едва обнесенные жиденским хворостным забором. Такая распланировка слободы была вызвана не административными или эстетическими соображениями (о коих и не ведали тут), а тем не головоломным фактом, что заселение правой стороны случилось позднее, незанятого места оказалось больше, и, вследствие этого, выделившиеся члены богатых семей, заводя свое хозяйство, предпочитали «новый берег». Так как притом, за очень немногими исключениями, семиложане вообще не могли пожаловаться на недостаток или убожество — лес был под боком, скот дюж, времени свободного имелось достаточно, — то стройка ими домишек показистее не должна являться чем-то достойным удивления, тем более что доморощенным архитекторам предстояло утруждать свою голову единственно над измышлением одних деталей: все строилось по плану, составленному кем-то, вероятно, при Гостомысле. Небольшие темные сени, со спуском в подполье, вели одною дверью в чистую половину. Тут, в переднем углу, красовался ряд закопченных икон с неузнаваемыми изображениями, десятков маленьких и складных медных образков, восьми-конечных крестов, ластовок, лампадок и пр., под иконами стоял дубовый, чистый, некрашенный стол, от которого по стенам шли такие же скамьи; в темном углу до потолка вздымалась кровать с подушками без числа; глаголем выходила лежанка, а в простенке торчал пузатый шкапчик с деревянною и глиняною посудой. Другая дверь из сеней вела на черную половину, где большую часть помещения занимала именитая русская печь и где голова даже привычного хозяина нередко стучалась о просторные полати. Только в тех жильях, где порою скрывались заезжие беглые попы и божики страннички, от этого общего плана постройки допускались хитрые отступления — двойные стены и двойные крыши, скрытые двери, лабиринты перегородок в подполье и т. д.; мирские же избы все строились на один лад.

В Семиложье можно было попасть только умеючи да знаючи.

Не жалую «табашников», «щепотников», поляки не водили с ними большого знакомства и на посещения их смотрели очень недружелюбно; наезд же начальства осо-



бенно приходился им не по душе. Пути сообщения поэтому прокладывались несколько своеобразно. Во многих местах дорога расходилась в разные стороны — и тот, кто держался напрямик, только заезжал в какую-нибудь лесную трущобу. Дальше путь пересекался речкой, на которой не существовало моста, а брод находился саженьях в пятидесяти вбок, и семиложане, чтобы не оставлять за собою хвостов, подъезжали к нему водою песковым прибрежьем. Остановившись у речки, путник, не усматривая следов на другой стороне, нередко предполагал, что ехал фальшивую дорогою и поворачивал оглобли, хотя от слободы, закрытой лесом, находился в каких-нибудь неполных двух верстах. Для людей нужных у поляков существовали жожаки, или этим людям предварительно давались точные инструкции.

Между избами «старого берега» едва ли выделялось чем-нибудь жильё дяди Парфена Силантыча: изба как изба, не очень старая и не то, чтобы новая, не особенно щеголеватая, но и не уродливая, не выше других и не маленькая. Обнесена она была тесовым заплотом, а ворота всегда стояли настежь; собак на дворе было пропасть, а людей — не видать что-то. Дядя Парфен был мужик богатый, способный на работу, неленивый, нежадный и немотоватый, лет под пятьдесят, с добрым и красивым лицом. Несмотря на все эти качества, в хозяйстве у него все шло не особенно споро, словно у хозяина не существовало интереса для усиленного труда и работливой бережливости. Чтобы объяснить причину этого, довольно сказать, что дяде Парфену, несмотря на с лишком тридцать лет мирной жизни с женой, походившей на него и миловидностью и здоровьем, Бог не дал деток. Годы шли за годами, два-три поколения выросли вокруг, ребятишки, бывшие на их свадьбе, переженались и сами завели ребят, а Парфен Силантыч с Лукерьей Степановной все жили одиноко, коротая свой век беспечно, но и безрадостно. Виноватою оказалась жена, и чего только ни делала она, бедная, чтобы поправить свою бесплодность, так как и ей хотелось того же, что мужу, так как и она томилась тяжелым одиночеством. Грешным делом, в прежние дни, украдкою от Силантыча, она даже пошалаила с некоторыми людьми Божьими: не поможет ли, мол, но увы! — грех оставался грехом и томил душу Степановны, а сладкого плода не обрелось. Муж и жена были бы крайне довольны, заведись в Семиложье обычай детей подкидывать, — но семиложане не сталки-

вались с цивилизацией, пользовались достатком и поэтому подобного обычая не знали. Лукерье Степановне оставалось, вследствие этого, излить свою любовь на пушистых Васек и Машек, а дяде Парфену — на Шариков, Барбосов, Мазнаток и т. д. Это они и учинили с надлежащею добросовестностью.

Именно к этим бесплодным супругам вручил Фролову Малюха свою грамоту. Именем Иисуса Христа просил он их дать блуднице приют и покров, пищу духовную и пищу телесную, дабы младенца окрестить в веру истинную, из геенны огненной изъяти, в царство Божие уготовати, на стезю спасения направить и благое Господеви сотворите. Что же касается до развратителя ее, т. е. Фролова, то Малюха советовал «сего щепотника, сына Ваалова, в дому своем, аки табашника и нечестиваго, не единого часу не держать, а, в охранение себя, в руки сатанинских стражников предать».

Дядя Парфен сидел на крылечке и любовно натравливал Барбоску на Змейку, а Шарика на Салтанку, когда Фролов и Оля, по указанию мимо бежавшего мальчонки, подошли к его дому. Увидев незнакомых людей, на которых было бросились собаки, Силантьич отогнал последних хворостиной и привстал.

— Ты, что ль, дядюшка, Парфен Силантьич? — спросил его Фролов, от пыли походивший на татарина.

— А ты кто? Нехристь? — в свой черед задал ему вопрос хозяин.

— Какой нехристь!.. Я от отца Егория грамотку принес.

Фролов подал письмо.

— От отца Егория? Чудо! — раздумывая и ворочая в руках письмо, заговорил дядя Парфен... От отца Егория — а взошел, честным крестом не осенившись... Гм!..

Читать он не умел и поэтому, во-первых, не знал, что делать с грамоткой, а, во-вторых, недоумевал, как принять путников. Впрочем, поразмысливши, он кликнул жену, велел ей посмотреть за странниками, а сам не спеша отправился к начетчику.

У Лукерьи Степановны был характер поживее; узнав, что гости явились от отца Егория, которого очень уважала, она затараторила, ввела их в светелку и стала потчевать. Оля была смущена, чувствовала какую-то свою малость и отчужденность, говорила, глотая слезы, и приводила этим хозяйку в немалое недоумение. Фро-

лов, оборвавшись на первом спросе Силантьича, тоже чувствовал себя нехорошо и держался сумрачно.

— Что вы, родные, словно с того свету пришли? — спросила, наконец, Степановна... Али мы вам не по ндраву пришлись? — не обессудьте...

— Нет, благодарствуем! — ответил Фролов. — С дороги.

— Оно точно, что с дороги многого не нагуторишь, а все приятно бы об отце Егории какую весть слышать: святой человек!

— Они все Богу молятся, и днем, и ночью... — перебив себя, заговорила, наконец, Оля.

— Беспременно: от младости такой богоугодный был; вот в пустыне спасается, а мы уж как хотели за батюшку его взять... Наш-то теперь никуда не гожд стал; только маемся с ним!.. Онадысь совсем было соседского ребеночка из рук выпустил — так мы все и обмерли. А ты, милая, — обратилась она к Оле, — на сносях, должно!

Дядя Парфен, появившись в светелку, перебил речь жены. Очень недружелюбно взглянул он на Фролова.

— Ты, шальной, чего ввалился в избу? — обратился он к последнему. — Табашного духу пустить? Послышал бы ты, что о тебе-то отец Егорий пишет.

Фролов обиделся.

— Я и уйду, чужого места не займу, коли я не тварь Божия, по-вашему! — ответил он. — Уйду...

— Отец Егорий велит в полицию тебя сдать...

— Что? Меня? — размахнувши рукою, энергически сказал Фролов. — Нет, братцы, таких людей, чтоб меня взять, коли сам не захочу, еще не было, да и не будет... Это шалишь, Матренушка, — не туда летит воронушка... Эх!..

Взгляд его упал на Олю.

— Да, постой... Что хотел, бишь, сказать!.. Да... Она-то у вас остается?

Еще при начале речи Фролова хозяева переглянулись и придвинулись друг к другу: они словно почуяли, что гость их — хороший человек; дяде Парфену даже стало стыдно...

— Она-то, — ответил он скороговоркою, — она-то здесь... Да и тебя-то, раб Божий, мы не гоним, а так отец Егорий писал...

— Благодарствую... Мне что! Вот ее-то поберегите, добрые люди. Ольгу Александровну... пусть ей у вас бу-

дет хорошо... а я уйду... Ребенка поберегите, ребеночка...

Фролов при этом поклонился в ноги.

— Вам Бог за это заплатит, — продолжал он, не замечая бежавших слез. — Прощайте, матушка, Ольга Александровна!..

Сказавши это последнее прости, Фролов почти бегом пустился из светелки.

— Батюшки! — завывала Лукерья Степановна. — С ним-то, кажись, и хлебушка-то нет...

— Эй, милый человек, вернись! — кричала она вдогонку. — Хлебушка-то возьми!..

Фролов бежал, не оглядываясь: только ринувшись в кусты за слободой, он упал на грудь... Прежде всего почему-то припомнил он тотчас жалкую фигурку Макарки Перебеднева, и горькая улыбка пробежала по его лицу.

— Что, Макарка! Вот тебе и фарт Митричу!.. У зверя жильё найдется, а у Митрича его нету-ти... Ай да фарт!

В избе же Парфена Оля сидела тише воды, ниже травы. Степановна проливала горькие слезы, что прохожий ушел без хлебушка, а Силантьич тупо смотрел на посуду, в которой жена, до его возвращения, потчевала гостей.

— Хлебушка не взял! Не будет нам, Силантьич, счастья! — в сотый раз повторила Степановна...

— Вот что, Луша, — произнес, наконец, перекрестившись, дядя Парфен, — ты эти-то чашки куда-нибудь забрось. Какой он ни на есть человек, а все шепотник: это отец Егорий написал.



## БУДУЩИЙ ГЕРОЙ

Жена дяди Парфена мало ошиблась в своем пророчестве грядущего несчастья: оно с каждым днем все больше и больше входило в ее дом, незримо, нечувствительно, но твердою, властительной стопой. Его принесла с собою Оля.

Сначала Лукерья Степановна была очень довольна ее присутствием и полюбила ее, словно дочь, так как в самом деле могла быть матерью двадцатилетней девушки. Кисейная натура Оли не позволила ей долго скрывать ряд пройденных ею испытаний, и Оля скоро посвятила «благодетелей» в историю своей жизни. Лукерья Степановна, с одной стороны, несколько смутилась, что Оля бессердечно бросила своих родителей, не покорилась им; но повествование о мучениях Гурина, о страданиях в тайге тотчас же расшевелили ее сердце, и она дала преимущество действительным несчастиям дочери перед горем родителей, которое могло и быть, но могло также и не существовать. Для слушательницы последняя возможность была тем вероятнее, что Оля не преминула сообщить о страстишке Александра Ивановича выпить и о том, как Лизавета Михайловна вовсе не сердилась, когда отец посылал дочь любезничать с чиновными людьми. Сама Лукерья Степановна жила очень мало и сердцем, и умом, даже почти не слышала искренних рассказов о сердечных делах; в ее личных грешках чувство не играло какой-нибудь роли, поэтому Оля была

для нее не только занимательною игрушкой, но и каким-то высшим существом, страдальцей.

— Ах, ты, бедная моя! — не раз повторяла Степановна, слушая какой-нибудь эпизод. — Сколько это всего повидала ты!

Беременность Оли также немало интересовала бесплодную женщину, и последняя с величайшим усердием принялась заготавливать для малютки необходимые вещицы. На это уходило время, так как, предполагая быть крестною матерью, она, и вообще добрая по самой натуре, сочла своею обязанностью наделить богоданного крестника чем только можно лучше; а не раз, благодаря неумелости, ей приходилось распарывать сегодня то, что она нашла вчера.

Наступила зима. Дяде Парфену всегда было немного дела, но в зиму по целым неделям случалось изрядно скучать, вследствие положительного неимения занятий. Работник привезет воды, присмотрит лошадей — самому только и остается, что молиться Богу, есть да спать. Летом посидишь на крылечке, с собаками повозишься; зимой и это развлечение не заманчиво: знай сиди в избе.

Лукерье Степановне, в присутствии Оли, это сидение почему-то стало вдруг казаться подозрительным. Ей словно мелькнуло, что муж необыкновенно, и с приятным, и с горьким чувством вместе, всматривается украдкой на излишнее — полный стан Оли, на простыни и пеленки, что готовились для будущего ребенка. Чем больше она подстерегала эти взгляды, тем сильнее уверялась в их многозначительности. Дядя Парфен, действительно, посматривал и на Олю, и на простынки, но, собственно, без малейшей задней мысли: пужно же было куда-нибудь смотреть! Лукерья Степановна понимала дело иначе, стала чувствовать какую-то боль на душе и в один прекрасный вечер надулась и бросила шить. На другой день она тоже ничего не сделала; от безделья боль обратилась в злую тоску.

— Ты бы, Луша, свивальничек-то покончила, — заметил как-то Силантьич.

— Вот шитницу нашел, — жестко ответила ему жена, — получше нас есть: барышни-роженицы.

Дядя Парфен, сделавший предложение так себе, не обратил внимания на ответ и промолчал. Это молчание было признано за сознание своей вины: сказать мол нечего — так лучше молчать.

Время родов приближалось; Оля, естественно, по-

дурнела, — но, кажется, чем больше она дурнела, тем красивее ее находила Лукерья Степановна, тем больше завидовала ей и обратила незаметно свою прежнюю любовь в полную ненависть. Она, по остатку здравого обыденного смысла, сознавала, что выгнать бедную девушку в мороз на улицу, при последней беременности, совершенно невозможно: и перед Богом-то грешно, и что добрые люди, православные христиане, скажут! А между тем сделала бы это с величайшим удовольствием. Она очень уважала отца Егория и в то же время глубоко роптала на него, что он язву такую в дом их послал... Какие ухищрения ни придумывала она, чтобы в неловкую минуту застать нежничавшего мужа с Олей, — все ей не удавалось, а неудачи только больше разжигали ее; мотивы подозрений росли и росли — и не было, кажется, такого предмета в великом Божьем мире, который не служил бы для Лукерьи Степановны основанием всевозможных предположений, в глубине же всего змеилась мысль, что Оля приворожила Силантьевича именно тем, что может она родить, тогда как жена бесплодна.

Степановна, хоть простая баба, а расхворалась не на шутку: она похудела, пожелтела, стала кашлять. Дядя Парфен испугался: пошел к попу, просил отчитать жену. Тот читал до поту — не помогло. Силантьич кинулся к знахаркам. Когда он входил к одной из них, там была и жена его: она просила присухи, чтобы снова обратиться к себе любовь мужа. Увидев, что последний входит в ту же избу, Степановна спряталась на полати. Оттуда она слышала весь разговор мужа, слышала его заботливость о ней: сердце ее в первый раз после долгих мук затрепетало радостно, она вздохнула свободно и вмиг почувствовала себя здоровою. Дождавшись его ухода, она бросилась домой, ласково погугорила с Олей и ночью прокралась к мужу, чтобы выложить в ласках к нему всю душу свою... Но ей снова показалось, что муж эти ласки принял холодно, неохотно, — и опять буря закипела в ее душе.

Неизвестно, до чего бы дошла эта буря, к чему привели бы эти волнения, эта гнетущая душу подозрительность, если бы они продолжались долго; к счастью для Лукерьи Степановны, Оля слегла вскоре в постель и, после страшных мук, родила мальчика. Ухаживая за тощим, едва пищавшим созданием, Степановна совершенно отрелась от дум и забот, не относившихся к ре-

бенку. В ее жизни словно случился какой-то переворот, словно нашла она настоящий жизненный интерес. Больная Оля сперва и не подумала взглянуть на свое дитя; взглянув же наконец и увидев, как оно некрасиво, она заявила простодушно, что ради его не стоило мучиться столько и переносить опасности; потом, выздоровев, она показала еще большее равнодушие и помышляла только о том, как бы скорее отправиться к Малюхе. Степановна поэтому признала младенца нераздельно своим, усыновила его духовно, кормила его рожком, чутко просыпалась при каждом его крике, баюкала его, обшивала и забыла за ним не только Олю, но и Силантыча. Ребенок был слаб, очень слаб — и чего бы ни дала Степановна, чтобы сохранить его!.. Дядя Парфен начал с неудовольствием усматривать, что хозяйство пошло не по-обычному: исчез даже тот малый, рутинный порядок, который существовал прежде. Полдник, обед и паузинок давались не во время; пряженики перегорали, молоко скисало. Силантычу это очень не понравилось.

— Ты, Луша, с мальчонком-то возись, Христос его спаси! — сказал он. — Да и хозяйство веди законом... А то мы, чать, не по-Божьему творим: ишь варево какое лопай!

— Ах ты, Христос! Ишь, что поделалось! — с досадою ответила жена. — Ты, чать, видишь, каков ангел Божий: и дышит-то малость... Где ж тут усмотришь?

Дядя Парфен промолчал; на крестинах ребенка, которого, в честь Малюхи, прозвали Георгием, он даже был весел и целовал богоданного сынка; но неудовольствие, уже раз выраженное, бросило в его сердце плодovitое, крепкое семя, с каждым днем дававшее большие и большие ростки. Тридцатилетний мир семьи был нарушен и не восстановился даже с отъездом Оли, за которою прислал Егор Константинович: она-де ему нужна для дела Божьего.

Ребенок остался у матери духовной.





## ЗА ВЕДРОМ НЕПОГОДЬ

С ковальским почтмейстером содеялся реприманд: лошадьхватила его копытом прямо в грудь. Несмотря на мощь мастодонта и на помощь Федора Федоровича «Сор-выкинь», почтмейстер захирел и вмале отдал Богу свою многогрешную душу. История эта случилась как раз в почтовый день, принесший ковальцам многозначительные, важные вести: Андрея Ивановича известили, что он назначен к исправлению должности советника экспедиции о ссыльных; Хлютикова хозяева вызывали в губернский город для заведывания откупом на правах главного поверенного; наконец и Переченко получил два послания: одно от своего приятеля советника — о благополучном окончании ревизионной суматохи, а другое от брата покойной жены — о том, что в северной части Енисейской губернии нашли богатейшие россыпи золота, что поэтому идет настоящий кавардак и что не желает ли Василий Максимович попасть на новые промыслы управляющим, так как запрос на людей велик и жалованье дают сумасшедшее, а знающих и способных мало?

Хорошие вести всегда приводят получающих их в хорошее расположение духа, умягчают сердца и внушают добрые мысли; поэтому ковальское чиновничество решило товарищески похоронить почтмейстера, с надлежащею помпою, нагробной речью и основательными поминками. Предложение, сделанное Андреем Ивановичем, было принято единодушно; едва городничий заикнулся о пожертвовании на этот случай двадцати пяти

рублей, как Хлютиков вызвался внести за свой счет хоть бочку спирта и бочонок наливки, Зубов — всякую «мушкатель», а духовенство — свои знания и голоса.

— Так «Вечную» дерну, что у протодьякона жилки затрясутся, — самодовольно возгласил благовещенский дьякон.

— Будто?

— Воистину: за пятьсот верст услышат.

Знаменская приняла на себя труд помогать почтмейстерше наварить и напечь что нужно.

Часу в десятом утра потянулась из церкви относительно длинная процессия за город, на кладбище. Впереди с образом шел письмоводитель Андрея Ивановича, который своим усердием при похоронах желал заслужить надлежащее возмездие при поминках; вероятно, для той же цели он подтягивал шедшим за ним трем дьячкам. Старшее духовенство ковыляло за гробом, который везли бойкие кони, едва удерживаемые возницею; дальше тянулось чиновничество, сопровождаемое ребятишками и взрослыми гражданами Ковальска, мужского и женского пола.

Похороны совершились вполне торжественно. На могиле протопоп блеснул красноречием. Хотя не было возможности отыскать у покойного заслуги, способные вызвать панегирик, и проповедь была переполнена поэтому единственно спасительными loci topici, но и ее выслушали с умилением. Дьякон, в свой черед, возгласом о вечной памяти блистательно доказал мощь своей гортани. Словом, все были довольны.

— Господи! Хоть бы и меня-то похоронили так! — заметил со вздохом городничий.

— Эх, Андрей Иванович, — ответил судья, — и от таких похорон откажешься — лишь бы пожить...

— Человек смертен! — философствовал Хлютиков.

— Един Бог вечен! — подтвердил Вервикин.

С кладбища все отправились в почтовую контору. Жена почтмейстера, по собственному выражению ее супруга, была «харнуз»; невкусная и самая дешевая сибирская рыба. Дочь почтальона, она словно чему-то удивилась при рождении, да удивленно осталась и на целую жизнь; все для нее казалось необыкновенным, особенно же смерть мужа и всякого рода угощенья, присланные по этому поводу ковальским чиновничеством и купече-



ством. Не помоги ей Знаменская, приятные предложения письмоводителя о выпивке никогда не осуществились бы; но Знаменская широко распорядилась насчет «мушкатели» Зубова и спирта Хлютикова; поэтому мало-помалу мрачные мысли хоронивших рассеялись, и «там, где гроб был», — смех звучал.

— Хоть бы что месяц по такому почтмейстеру умирало, — смеясь, говорил у графинчика Иван Евграфович письмоводителю.

— Нет, брат, на почтовых в кои веки мор приходит — ездят много: смерть за почтовым в Омск, а тот в Томск, она за ним, а тот — в Нарым: поймай-ка!

— Адохнут же!

— Ну, когда-нибудь и всякий на суд праведный явится, — нельзя! И мы, брат, с тобою живыми на небо не подымеся... На этот счет брат, fiat voluntas tua, Domine!...

Андрей Иванович, почти прощаясь, так сказать, с Ковальском и своими прежними подчиненными и сослуживцами, хотел не ударить себя лицом в грязь и оставить этим по себе добрую память; онпил поэтому с каждым, почти с каждым целовался.

— Я ведь не свинья какая-нибудь — самодовольно возглашал он, обращаясь к Зубову, — чтобы нос задирать, как только повезло. Нет, я всюду буду Андрей Иваныч, меня всюду Андреем Иванычем вспомнят. Вот ты, Василий Лукич, скажи — кого я обидел? Тебя? Нет, не обидел!.. Ведь не обидел?

— Помилуйте, батюшка, Андрей Иваныч, — зачем?

— То-то! А ведь мог обидеть, совсем мог, потому что подлых дел за тобою найдется немало, самых криминальных.

— С кем, Андрей Иваныч, чего не случается! — пожавшись, ответил Зубов.

— Нет, врешь, Васька! — обидчиво заговорил Андрей Иваныч, на которого хмель начинал оказывать полную власть. — Нет, врешь! За кем там что, а за тобой уго-ло-вщина!... Ты это пойми!... А кто тебе всегда помощь оказывал? Кто тебя топить не хотел? А? Андрей Иваныч. Так тебе ему в ноги кланяться нужно.

— Мы за это всегда вас благодарили, Андрей Иваныч! — отвертывался Зубов, которому от посрамления было совсем неловко.

— Еще бы не благодарили!.. Благодарит всякий, и Акулька, и Афроська благодарят, а разве я для них де-

дал то, что для тебя, черт ты этакой, купец Василий Зубов, я делал разве то? А насчет золотишка-то? Забыл?

— Это дело не мое-с, Андрей Иванович...

— Не твое? Ну, так постой, хозяина позовем, спросим его, чье это дело!

Городничий кликнул человека и приказал ему бежать к Переченко и звать его в почтовую контору по очень-очень нужному делу, немедленно. Как Зубов, Хлютиков и даже письмоводитель ни усовещивали Андрея Ивановича, чтобы он оставил казначея в покое, сколько ни говорили ему, что добра из этого не выйдет, городничий упорно стоял на своем. Можно сказать даже, упрасиванием только подзадорили его. Ему казалось, что упрасивающие сомневаются в его власти над «медведем», боятся за какую-нибудь неудачу, тогда как Андрей Иванович, особенно в новом сане своем, никого не боялся, тем более Переченко. Вино шумело в его голове, будоражило его желчь; притом, кажется, никогда еще Андрей Иванович, выйдя, так сказать, в люди, т. е. возсев на место городничего, не был так пьян, как в настоящую минуту.

Переченко, получив приглашение прийти в контору, многозначительно пожал плечами.

— Что бы могло случиться? — невольно подумал он. Очень нужного дела, несмотря на всевозможные припоминания, не отыскивалось. Впрочем, так как ему в голову не могла забрести мысль, что его вызывали для потехи, для оскорбления, то, облекшись в форменный сюртук, он отправился.

Андрей Иванович встретил его пьяно-начальническим тоном.

— А вот вы, Василий Максимыч, на погребении то-варища и не были... Нехорошо!

— И без меня там нашлось, — сурово ответил казначей, которому не понравилась и общая обстановка компании, и тон городничего.

— А вы-то, Василий Максимыч, позвольте вас спросить, кто такой, что вам нельзя было пожаловать?

Все присутствующие присмирили, столпились гурьбою и томительно ждали ответа.

Переченко хотел молча отвернуться и выйти из комнаты; но городничий, более и более увлекавшийся, вскочил и, схватив его за руку, силою вернул назад.

— Стой, брат, так нельзя! — закричал он. — Этак всякая свинья наплюет, да и вон уйдет!.. Я, глава, отец

города, спрашиваю, а он, сволочь этакая, рыло воротит...

Интерес столкновения с каждой минутой увеличивался.

— Господа-чиновники: прислушайтесь — я жаловаться буду, выставлю вас свидетелями... — конфужено заговорил Переченко.

— А! Вот что! Бунтовать... Возмущать против городничего!.. А кто золото воровское скупал? А кто ребенка топил? В каторгу ушлю подлеца!

Василия Максимовича как-то странно перевернуло. Не думая долго, он схватил городничего и в один момент бросил его под свое колено, которым так наступил на грудь неприятеля, что тот застонал. Все кинулись разнимать их; но Переченко словно оцепенел; с ним нужно было возиться, чтобы отнять Андрея Ивановича...



## БОЖЬЕ ДЕЛО

Оправившись от родов, спокойная относительно ребенка и своей будущности, Оля значительно похорошела. Ее маленькое личико стало полное, резкие черты и угловатость сгладились, у рта показались небольшие ямки, цвет кожи говорил о здоровье. В темном полумонашеском платье она была если не красавицею, зато такою милостивою, что не только Малюха в его пустыне должен был обрадоваться ее приходу; но и человек,

постоянно вертящийся в женском обществе, счел бы за нехудую вещь сблизиться с нею.

Приветствие обрадованного Егора Константиновича оказалось слишком братским, поцелуй отшельника был долг и жарок, так что несколько смутил Олю: опытная девушка не могла не почувствовать, что этот поцелуй больше предвещал земное наслаждение, чем небесную радость... Тем не менее Оля не задумывалась остаться при монахе, так как во время разлуки с ним, под влиянием брюзжания Лукерьи Степановны, привыкла к мысли, что все ее счастье, все ее спасенье — там, в пустыне, на услугах отцу Егорию, каковы бы ни были эти услуги. Будь Малюха посдержаннее, приучай он ее мало-помалу ко всему, Оля даже и не почувствовала бы перехода от положения ученицы в положение любовницы; но Егор Константинович или не счел нужным долго разыгрывать комедию, или просто не стерпел, только он слишком хорошо разъяснил Оле, что черт вовсе не так страшен, как его пишут, а отшельники вовсе не так безупречны, как это предполагают. Оля испугалась и на мгновение даже вспомнила Фролова, с его чистым отношением к ней при обстоятельствах далеко удобнейших.

— Отец Егорий! — робко заметила она Малюхе. — Ведь Бог накажет... Ведь вы монахи...

— Что я за монах, дорогая моя! — перебил Малюха. — Ну, да пускай и поп буду — живут же другие попы в мире, с женами: разве мне нельзя? Ведь, может, милая моя, тебя Господь в подкрепление и усладу трудов моих послал... Может, любезная ты женщина, Господу это в потребу...

— Тогда отец Егорий, по закону можно, обвенчаться, — у нас попы венчаные.

— Ах, милая, не грехи ты в миру — быть бы тебе по глаголу твоему; а то вот от святых отец сказано: иерей жены, другого мужа знавшей, пояти за себя власти не имеет... Да и кто меня с тобою венчать может? Разве поп простой на неделе пестрой... А дело-то Божие как?.. Ведь хочу я, милая ты моя, во славу Божию обители здесь, киновии устроить в дебрях сих: таково повеление мне Божие... Стало, жениться — от дела Божьего отщепиться. Так ли, любезная?

— А все, отец Егорий, словно грех...

— Аще, милая, не согрешишь — не покаешься, а непокаенный — не спасается, — это святые отцы до нас возблаговестили... Устрою я, милая, две обители — муж-

скую и женскую, — дабы окрестный народ, в юдоли пребывающий, ко Господу обратит, — вот Господь за труды и помилует, и спасет нас... Ты в обители женской аки помощница для дела Божьего потрудишься.

— Да ведь тогда, отец Егорий, нам жить вместе нельзя...

— Все, милая, возможно, коли на то воля Господня окажется. Пожелает Христос наказать — разум отнимет, а пока разум Господь не отнял, из темницы и узилищ путь мнози обретаются... Вот жиды во Египте в каком стеснении находились, а и то по морю, яко по суку, прошли и от полчищ Фараоновых избавление получили... Для жен татарских обитель устрою, — так оне, что ль, вопить учнут?

— А кто приезжать станет, отец Егорий, — как те поглядят? Ведь вот сколько знают меня...

— Э, дорогая моя, пока ты в мире была, — что говорить, дело мирское вела, грех содеивала, ибо все мы небезгрешны и перед Господом повинны; а как во образ-то ангельский облечешься, как сведу на тебя рукоположением моим благодать Иисуса, так не больно язык вражий распотешится... Обращение твое видя, всякий Всевышнего восславит! Из блудниц и вытарей и Христос учеников своих набирал, да и нам, ставленникам своим, в этом запрету не положил. Так чего же?

Оля возражений не представила, не потому, впрочем, что его бы не нашлось, а потому, что оно было бесполезно...

Позже Малюха повел речь не менее практическую.

— Разве тебе, милая, — сказал он, — как и другим женам благочестивым, видение какое не может придти?... Ангел, что ли, Господен в облаках, жена мироносица или угодница какая?.. Вот, примером, в странствиях моих знал я женщину некую — мать Варнава прозывалась, — уж как диковала, доподлинно бесноватая какая. И снизошел единожды сон на нее. И видит она лестницу, от первы земные до небес идущую. И по лестнице той летят Ангелы и Архангелы, Херувимы и Серафимы, и вверх, горе очи обратили они, как бы пришествия какого ожидая. И появилась вверху, над самую твердь небесную, жена красоты неопикуемой. И возгласила она гласом божественным: «Почто стезям Господа не следуешь и по глаголам его дел не творишь? Отряси прах земной от ног твоих и ко мне гряди!» И пошла блудница та на зов сей, и прошла небо одно, и



небо другое, и так до семи небес... Возвратившись вспять, почувствовала она силу особую и пошла путем правым, и в кругу человеков немалую славу получила. Может, и тебе, милая, видение такое было, только памятью о нем и проси Господа ниспослать его тебе... Когда же видение узришь, милости Господней уподобишься, повествуя явно в содеянном тебе тайно и уведав, яко Бог наш пробавил силу свою на тя, кто зазрит на безумства твои прежняя?

— Очень, отец Егорий, мудрено это...

— Потрудись, Бог труды любит.

Оле, в самом деле, пришлось потрудиться. С каждым днем больше и больше вводил ее Малюха в свои планы, поучал необходимому обращению, обрядам, способу выражения. Так как память у Оли была хорошая, то дело шло споро. Если что раз не приходило ученице на ум, довольно было учителю произнести первый звук, чтобы она припоминала остальную фразу и проговорила ее самым набожным тоном. Это неглубокомысленное плутовство нравилось ей, потому что приходилось по плечу ее неглубокой натуре... Егор Константинович, в дополнение к своему поучению, заявил, что речь добрая и с писанием согласная есть серебро, а молчание, где нужно,— чистое золото. Оля поэтому нередко и помалкивала, чем от учителя заслужила особую похвалу, подзадоривавшую ее к усвоению новых псалмов и рассказов. Притом, Оля видела перед собою будущее: ей предстояло быть настоятельницей женской обители, быть **чем-то, властью**, а власть заманчива для каждого!.. Времени свободного оставалось немало, его хватало для самых диких и бесплодных мечтаний, и будущая настоятельница пользовалась им иногда для того, чтобы, лежа с закрытыми глазами, рисовать заманчивые картины ожидающей ее жизни... Видит она себя в шелковой мантии-рясе; на руках крупные янтарные четки... Келья вся коврами устлана... Свет чуть мерещит... В двери стучат...

— Господи Иисусе, сыне Божий, помилуй нас.

— Аминь.

Входит послушница.

— Мать Елена, к утрене... (Малюха дал ей новое имя).

Пойти или не пойти? Лежать-то хорошо, тепло и спокойно; зато там, в церкви, все ожидают, там она словно царица какая, важная, гордая, красивая, влекущая к себе взоры удивленных, завидующих людей...

— Ах, отец Егорий! — искренно восклицала после таких мечтаний Оля. — Когда же, когда обитель устроить будем?

— Прытка ты, мать Елѣна! — посмеиваясь, отвечал ей на это Малюха. Потерпи...

— Да этого, пожалуй, и вовеки не будет?

— Ну, уж и вовеки! И теперь яко бы житие не худое...

— Только грешим...

— Больше грѣшишь — душевней каешься.

— Все кругом люди были бы...

— А по писанию, мать Елена, как?.. Бла...

— Блажен муж, иже не иде на совет нечестивых...

— То-то!

Однажды, в ясный зимний день, к часовенке подъехали те телеуты, что вывели некогда Фролова и Олю из тайги. Видимо, явились они посмотреть: не найдут ли опять своих старых знакомых? Увидавши Олю, они обрадовались, как дети, бормотали, взвизгивали, спрашивали что-то знаками, кланялись — словом, выражали, чем могли, свое сердечное волнение. Оля, инстинктивно догадываясь, что пытаются они, между прочим, и о Фролове, конфузилась, не знала, куда деваться, и хотела спрятаться. Ей как бы стало стыдно перед этими ничего не понимавшими бесхитростными людьми; что живет она теперь с другим человеком, а не с Митричем, томившимся с ней в тайге. Но Малюха признал приход дикарей истинным посланием Божиим.

— Вот они, ученики-то наши! — пояснил он Оле... Только бы хоть двух-трех споначалу к себе стянуть.

Он приказал поэтому Оле быть к телеутам возможно внимательнее, угощать всем, что есть, так сказать, приручить их: Он сам помогал в приеме гостей, показывал им хатку, позволял дотрагиваться до вещей, повел в часовню, молился перед ними. Инородцы смотрели на все, раскрывши рот. Впрочем, Малюха подмечал их восклицания при виде той или иной вещи, наскоро и не всегда правильно записывал эти восклицания и потом повторял их. Первым знакомым звукам телеуты положительно изумились и со страхом начали посматривать на волшебную бумажку, по которой совершались такие чудные дела. Труд Малюхи поэтому подвигался нескоро, но и не пропадал бесследно. Немногими схваченными словами, с прибавлением пояснительных жестов,

Егор Константинович выразил приглашение к дальнейшим посещениям. В самом деле, инородцы вернулись через неделю. Холод на дворе стоял крепкий. Войдя с морозу в тепло, они собственным телом ощущали выгоды иной жизни, чем их жизнь: в хате не было дымно и душно, копоть не ела глаза; восковые свечи под образами давали красноватый, но ровный свет. Телеуты навезли в подарок шкур; Малюха отплатил им несколькими блестящими безделушками, которых у него оказалось довольно большой запас. Посещения стали мало-помалу очень часты, словарь Малюхи делался полнее, объяснения легче, особенно Оля хорошо удерживала в памяти различные выражения, почему инородцы, хотя чувствовали глубокое почтение к Малюхе как к мужчине, тем не менее преимущественно жаловали Олю, которая их лучше понимала и которую они лучше понимали. Один старик с двумя бабами загищивали дня по три и четыре сряду; Малюха через это теснился, но не выразил и малейшего неудовольствия.

— Все воздадут мне сторицей, — сказал он Оле, — Бог в долгу, мать Елена, не остается... а это дело Божье!



## ОТ ГРЯЗИ К ЗОЛОТУ

Вернувшись с побоища, учиненного в почтовой конторе, Переченко никак не мог привести свои мысли в порядок. Да ведь и случилось же черт знает что за нелепица! Можно ли было ожидать от двух столь солидных людей, как Андрей Иванович и Василий Максимович,

что они передерутся, словно неосмысленные семилетние мальчишки без основательного повода, без серьезной причины, вследствие простого увлечения? Кто мог за час предположить даже самую возможность подобного недоразумения?

Переченко задавал себе по этому случаю вопрос за вопросом и не находил им сколько-нибудь удовлетворительных ответов. В его жизни было много невзгод; еще не так давно он погубил дочь, сделался косвенным убийцею, лишился в одно мгновение средств, добытых целым рядом преступлений, но всем этим невздам был повод — он нес материальное и нравственное наказание совершенно заслуженно... Так рисковал он собою, чтобы приобрести деньги; жертвовал дочерью, чтобы спасти себя; лишился денег, чтобы избежать юридической кары; там судьба, так сказать, имела право преследовать его, сыпать на его голову испытания — он их и понес... а что же этот новый, бессмысленный, ни чем не вызванный удар?

А как ни нелеп этот удар, он не только не может пройти бесследно, но, конечно, будет иметь результаты громадного значения... Теперь все, что велось под сурдинку, стало ясно, что думали только — было высказано, все, умершее и стоившее так дорого, ожило... Перчатка брошена прямо в лицо, торжественно, при свидетелях... Ведь всех не изобьешь, рот всем не закроешь, всех не заставишь молчать... Притом катастрофа случилась именно тогда, когда, казалось бы, ее нельзя было ожидать: Андрей Иванович уезжал, Хлютиков тоже, следствие о ребенке кончилось, ревизия прошла благополучно...

И что за выходка со стороны городничего! Положим, он взял пятьдесят тысяч, он взял их не только как ловкий чиновник, но и как благородный человек: сдержал свое слово, не увлекся излишнею жадностью, раз назначив цифру — не изменил ее, хотя и имел полную возможность... Наконец, разве ему не приходилось никогда напиваться? Разве в его выгоде болтать о сокрытии преступления?..

Хорош и Василий Максимович! Словно неопытный юноша, отправился он в пьяную компанию... не сумел обратить историю в шутку, пустился в кулачный бой... Это что такое? Похоже ли это на действия человека пятидесяти лет, прошедшего столько испытаний, способных закалить самого бесхарактерного полуумка?

Что теперь делать Василию Максимовичу?

Чего ожидать?

Как посмотреть в глаза Андрею Ивановичу? Как он встретится со свидетелями драки?

Переченко готов был рвать на себе волосы и только на второй день после происшествия пришел к мысли, что и ему необходимо кинуть Ковальск. Он припомнил при этом письмо деверя, спешно написал ответ и послал его с нарочным: новый расход.

Вон, вон, отсюда, где что ни шаг — то тяжелое воспоминание, явный или тайный упрек! Вон из этого проклятого города, где неудача шла за неудачей, беда за бедою, позор за преступлением, преступление за позором!..

Куда?

Где найдется такой укромный уголок, куда можно уйти от беспощадных людей, что язвят и мучат без желания, губят без наслаждения, — уйти от самого себя, от внутри живущей совести, от памяти, сохраняющей прошлое, от разума, подводящего итоги этому некрасивому прошлому?

Переченко много, много думал об этом «куда?».

В Россию европейскую? В Петербург? В Москву? В Чухлому?

А там что? Жизнь даже без того механического, формального труда, который поглощал хоть часть времени в Ковальске!.. Новое взглядывание чужих людей в душу, в привычки, в самое безделье переселенца...

Это ли успокоит?

Мучения Переченко были тем тяжелее, что он не мог пересилить себя и заставить отправиться на службу, целые часы шагал он взад и вперед по кабинету, шлепая башмаками, или ложился в постель ничком; еда не шла на ум; одни и те же безответные вопросы приходили на ум, пережевывались, отгонялись друг другом, снова возвращались и только в корень томили Василия Максимовича.

Недели через полторы нарочный привез ответ следующего содержания:

**«Милостивый государь мой,  
Василий Максимович!**

Очень приятно было мне осведомиться от почтенного деверя вашего, что вы как человек знающий и опытный готовы оставить коронную службу и принять в К<sup>о</sup> моей

фирмы место управляющего. Ныне компаниею нашу заявлены девять приисков, из коих становить работы компания предполагает только в двух; остальные же семь желает подвергнуть шурфовке, дабы убедиться в количестве содержания и удобстве работ. Обе сии операции должны быть под общим управлением.

Прииски наши находятся на расстоянии трехсот верст от города Енисейска, по речкам Калам, Севегилю, Дыбкошу и Дытану. По первым речкам расположены площади приисков Вознесенского и Воскресенского, предположенных к разработке шестьюстами челоуеками. Места сии совершенно новы, и хотя об оных и идет та слава, что тут золото шапками гребут, но без осторожности и прѣзорливости и богатство чуднейшее может ни к чему, а то и к разорению привести. Посему и желательно бы с вами, милостивый государь мой, мне как главному компаньону лично познакомиться.

Кроме меня, в компании участвуют: брат мой, потомственный почетный гражданин и кавалер Федот Артемьевич Лукачев, господин коллежский советник и кавалер Иван Богданович Свиряткин, господин граф и жандармский шеф Христиан Христианович Буденгоф и князь лейтенант-генерал Степан Прокофьевич Демандемори. Сии высокопоставленные чины участвуют, впрочем, не капиталом, который единственно я с братом Федотом Артемьевичем вкладываем.

Буде вы, милостивый государь, пожелаете окончательно в управление означенными выше приисками поступить, то жалованье назначается вам шесть тысяч, со всем содержанием вам и семейству вашему. А если Господь труды ваши благословит, то компания вас своею благодарностью не оставит.

Присовокупить считаю необходимым, что скорейшим ответом вы усерднейше обяжете, милостивый государь мой, Вашего покорного слугу Архипа Артемьева Лукачева, потомственного почетного гражданина, Ейского 1-й гильдии купца и разных медалей кавалера.

Октябрь 26 дня 1839 г.

Бегло пробежав письмо, Переченко кинулся в комнату Сони, которая чувствовала себя нездоровою.

— Сонюшка! Едем, едем! — с сильной жестикуляцией восклицал Василий Максимович.

Девушка подумала, что отец говорит о поездке к ре-

бенку, поездке, которую она столько ожидала, о которой столько думала и которая, словно заколдованная, откладывалась от одного срока на другой. Живая краска выступила на бледное личико Сони, из глаз брызнули слезы...

— Господи, наконец-то! — проговорила она.

Переченко понял ее мысль, и его веселье пропало.

— Ты, Сонюшка, не то думаешь, — тихо проговорил он, — мы пока не туда поедem... Туда после...

— Опять после... О, Господи!

— Ты, Сонюшка, не тревожься — скоро все будет, слышишь — непременно все будет... Мы поедem на прииск, к золоту... Там не то будет...

— Да что же?

— Все, все... и ребенок будет с нами. Там мы будем одни.

— Ну, едем, едем!

— А какое золото там, Сонюшка, — шапками гребим; еще такого, говорят, и не видали... Мужик в рукавицу насыпает песку — фунт... Шесть тысяч жалованья!.. Едем, едем, Сонюшка, к золоту, к золоту!

Василий Максимович не знал, как совладать с собою, и то и делал, что повторял:

— К золоту! К золоту!

КОНЕЦЪ

## СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие.

Роман о Сибирском золоте М. М. Кушникова.

### НА АЛТАЕ

1 глава. Город Ковальск и его благоденствие.	27
2 глава. У проруби и на совете.	32
3 глава. Отец и дочь.	37
4 глава. Казначей и городской староста.	42.
5 глава. Золотой прииск.	46
6 глава. Багул.	52
7 глава. Ученье в прок.	60
8 глава. Где найдешь там и потеряешь.	68
9 глава. Процент.	<b>74</b>
10 глава. После праздника.	83
11 глава. Доносчик.	89
12 глава. Бунт.	100
13 глава. Две смерти.	107
14 глава. Проданная дочь.	112
15 глава. Сила и солома.	118
16 глава. Одним меньше.	124
17 глава. Одним больше.	129
18 глава. Сибирская Швейцария.	136
19 глава. Телеут и старовер.	147
20 глава. Раздумье.	157
21 глава. Перетасовка карт.	162
22 глава. Чем дальше в лес — тем больше дров.	169
23 глава. Просветитель.	176
24 глава. У поляков.	<b>181</b>
25 глава. Будущий герой.	187
26 глава. За вёдром непогодь.	191
27 глава. Божье дело.	196
28 глава. От грязи к золоту.	201



автор  
**Леонид Петрович Блюммер**

**НА АЛТАЕ**  
роман

Редактор  
**М. М. Кушникова**

Художник  
**Мигулин Николай Петрович**

Техническое редактирование  
**Т. А. Прокопьевой**

Сдано в набор 25.03.1993 г. Подписано в печать 30.04.1993 г. Формат  
84×108<sup>1/2</sup>. Печать высокая. Усл. печ. л. 6,5. Уч.-изд. л. 11,15. Тираж  
10.000. Заказ 85.

Издательско-полиграфическое предприятие «Советская Сибирь»,  
630048, Новосибирск-48, ул. Немировича-Данченко, 104.  
Издательство «Кузнецкая крепость», 654007  
г. Новокузнецк, пр. Кузнецкстроевский, 1.

M 1401749

